

# ГРАНИ

GRANI

106

---

Verlagsort: Frankfurt/Main, Oktober-Dezember

1977

ОБРАЩЕНИЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПОСЕВ»  
К ЛИТЕРАТУРНОЙ МОЛОДЕЖИ И СТУДЕНЧЕСТВУ,  
К ПИСАТЕЛЯМ, ПОЭТАМ,  
ЛИТЕРАТУРНЫМ КРИТИКАМ,  
К ДЕЯТЕЛЯМ ИСКУССТВА, НАУКИ И ТЕХНИКИ  
— КО ВСЕЙ РОССИЙСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

Русское издательство «Посев», находящееся в настоящее время за рубежом, во Франкфурте-на-Майне, предоставляет Вам возможность опубликовать те Ваши произведения, которые по условиям политической цензуры не могут быть изданы на Родине.

Эти произведения могут быть напечатаны в журнале «Грани», в ежемесячнике «Посев» или изданы отдельными книгами. Возможна также публикация этих произведений на иностранных языках.

Рукописи могут быть подписаны как фамилией автора, так и псевдонимом. В последнем случае издательство принимает необходимые меры для того, чтобы исключить возможность установления личности автора, и гарантирует, что оригинал рукописи не попадет в чужие руки.

Рукописи, вышедшие в Самиздате, перестают быть исключительным достоянием автора, — они становятся достоянием российской литературы. Поэтому наше издательство считает прямым своим долгом способствовать публикации таких рукописей, поскольку новая российская литература лишена политической цензурой права голоса у себя в стране.

Авторские гонорары в размере, соответствующем установленным в «Посеве» ставкам, будут храниться в издательстве до того времени, пока автор найдет возможным их получить.

*(Продолжение см. 3 стр. обложки)*

# Г Р А Н И

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Год XXXII

№ 106

1977 год

## СОДЕРЖАНИЕ

### ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

- Светлана ШЕНБРУНН — Как на речке на Оке.  
    Повесть-очерк 3  
Лия ВЛАДИМИРОВА — Стихи 112

### ОЧЕРКИ СОВРЕМЕННОСТИ

- Игорь СИНЯВИН — Последний день в России 117

### ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

- Ю. КАРАБЧИЕВСКИЙ — Точка боли. О романе  
    Андрея Битова «Пушкинский дом» 141  
Владимир ЧЕРНЯВСКИЙ — Гибель героев.  
    О творчестве Георгия Владимова 204

### ДОКУМЕНТЫ

- Георгий ВЛАДИМОВ — В Правление Союза  
    писателей СССР. Письмо 229

### ФИЛОСОФИЯ. ПУБЛИЦИСТИКА

- Свобода и будущее  
Карл ПОППЕР — Утопия и насилие 234

- 
- Сергей ЛЕВИЦКИЙ — Загадка человеческой личности.  
    Об иерархической структуре личности 251

## БИБЛИОГРАФИЯ

- В. Володин.** — Портрет без ретуши. —  
    **Р. Р. По сути дела** 276
- Содержание журнала с № 101 по 106 281

*Обложка работы художника Н. Мишаткина*

# Как на речке на Оке

*Повесть-очерк*

### I

Макар поднялся на крыльцо, для порядка обтер слегка ноги о тряпку, брошенную перед порогом. Тряпка показалась ему знакомой. Алексеевны кофта. Простлый год еще носила ее. А нынче уже бросила. Забогатела. Макар потянул дверь и переступил в сени. Дальше он не решился идти и позвал:

— Алексеевна!

Никто не откликнулся. Макар прошел во двор. Поросята жрали что-то из корыта. Макар заглянул в корыто. Горох, что ли? Вроде бы горох. Алексеевна все что-нибудь для них парит. И так уж еле поднимаются, а знай жрут. Самой Алексеевны во дворе не было. Макар вышел в огород и заорал:

— Алексеевна!

Но опять остался без ответа.

Спит она, что ли? Макар почесал подбородок, сильно заросший отчасти седой, отчасти черной еще щетиной. Отсутствие Алексеевны озадачило его, поскольку никаких точных указаний от отца Захария он не получил, а велено только было явиться нынче с утра и делать, что скажет Алексеевна. Что ж теперь, ожидать, пока она проснется? Макар вернулся в дом и

отворил дверь в кухню. На окошке тюль, беленькая блестящая плита накрыта вышивкой, в буфете стеклышки занавесочками задернуты. На полу дорожка, чистенькая, вроде бы и не стиранная. Макар опустил на нее ящик с инструментом, еще раз позвал Алексеевну и шагнул в комнату. Из угла глядели разные иконы. Алексеевны не было.

«Ушла, — подумал Макар. — Знала ведь, что приду, а ушла».

Разозлившись, Макар решил больше ни за какую работу у отца Захария не браться. Пускай себе поищут. Небось, не мальчишка — туда-сюда бегать. Работать так работать, а нет, так нет. Нечего! Придерживая вышивку, он приподнял крышку на плите и оглядел конфорки. Путаясь в заграничных буквах, прочел: «Пхених». Не наша. Достал поп. Сумел. Ничего особенного. За деньги всё достанешь. А денежки у него, небось, водятся. Макар открыл зачем-то дверцу буфета, поглядел на стаканы, сахарницу, сухари на блюдечке. Потом выглянул в окошко. Никого не видеть. Пошла куда-то, а дом оставила незапертый. Кто хочет войдет и унесет что-нибудь. Долго ли? Станет в гардеробе рыться, а если Алексеевна на беду войдет, так и молотком по голове тукнет. Найдут его после, что ли? Не найдут... Макар прислушался, на цыпочках подошел к шкафу, распахнул дверцы и принялся рыться на полках. Однако денег не попадалось. Вдруг ему послышался какой-то скрип, он поспешно захлопнул дверцы и отбежал в кухню. Никого не было. Макар еще немного потоптался, хотел сесть на табурет, но передумал и пошел наружу. Ящик с инструментом оставил. Чтобы Алексеевна видела, что приходил честно, без обмана.

На крыльце Макар остановился и задрал голову к небу. Это ж надо — утро еще, а так печет... Макар прошел огородом, по пути сорвал огурец, обтер от земли и попробовал. Сладкий. Подойдя к обрыву,

Макар присел и, используя удобные для скольжения части тела, съехал вниз. Тут он постоял, поглядел на тот берег. На лугу копошились люди. Вон она, делянка-то его, стоит нетронутая. Лучше бы косить с утра направился. Все равно без дела день пропал. Макар зевнул, сел на траву, потом лег, подложил под голову кепку и уснул. Один раз он приоткрыл глаза, подумал — может, Алексеевна уже вернулась, но после решил: вернется — сама позовет, ящик-то стоит. Макар перевернулся на бок и стал спать дальше. Солнце выбралось из-за деревьев и припекло ему голову. Он вытащил кепку из-под головы и надвинул на лицо.

Спящего его и нашел тут сосед — Трофим.

У Трофима утро начиналось в другое время, чем у Макара. Трофим успел уже побывать на лугу и скосить свою делянку от реки до самой старицы. После жена с дочкой Танюшкой остались сторожить и ворошить сено, а сам Трофим пошел на работу, на электростанцию. Теперь он уже шел домой обедать.

Увидев Макара валяющимся под чужим забором, Трофим нисколько не удивился, поскольку за Макаром известна была способность надраться среди бела дня. Трофим даже подумал, что это кстати, если у Макара именно теперь начался запой. В один момент в голове у Трофима созрел целый план. Косить Макар скоро не собирается. Погорит трава без всякой пользы. Выставить ему пол-литра да и сговориться насчет делянки. Рублей пять можно дать Марье, чтоб не обижалась. В крайнем случае и десятки не жалко. Если к весне пару пудов продать, эти деньги вернутся. А уж корове с телкой во как хватит! Нынче ведь как вышло — не то что в прежние годы. То колхоз за одну десятую разрешил косить — никто на нее, на эту десятую, и не зарился. В лесу предпочитали — тишком — стожок-другой сметать. В лесу что накопил, то твое, если вывезти, конечно, сумеешь. А на лугу, бывало, трава погорит, поляжет, да так под снег и уйдет. Уж и не

помнит никто, когда последний раз косили. А нынче новая установка вышла: пятьдесят процентов отдавать. Половину на половину. Моментально все деланки расхватали — хоть есть корова, хоть нет. Коров в селе всего шесть, а как луг делили, чуть не передрались. Теперь заполучить Макарову полосу было бы очень кстати. С двух делянок Зорю с Субботкой на всю зиму обеспечишь. Чего там на зиму — до следующей осени хватит.

Однако вступить тут же на месте с Макаром в переговоры Трофиму не удалось. Сколько ни тряс его, Макар только мычал, но просыпаться не просыпался. Подошел дед Григорий, паромщик, и сказал:

— Не трожь ты его, пушай спит.

— На самом солнце ведь лежит — напечет.

— Не напечет!.. Небожь тут Рязанская область, а не Африка.

Трофим махнул рукой и пошел своей дорогой. Все равно при Григории насчет делянки говорить не станешь.

Дед тоже зашлепал к парому. На этом берегу пассажиров не было, и он решил податься на тот.

Макар проснулся от озноба. Он потер глаза, поглядел в небо, ничего там не увидел и уселся. В голове была какая-то тяжесть. Макар хотел привстать — перед глазами поплыли круги. Черные, зеленые, желтые. С трудом он добрался до ручья, напился и огляделся. Поблизости паса привязанный на веревке Евдохинский бычок. Чего они его держат? Зарезать бы по весне и порядок. Вон, уставился своими глупыми глазами. Чего глядит?.. Макар почувствовал, что его снова клонит в сон, но побоялся лечь — как бы не простыть. И так уже в дрожь кидает. А вроде, солнце еще высоко... Кряхтя и пражкая свою злосчастную судьбу, Макар поплелся в гору.

Возле почты он увидел кума Ивана. Иван стоял и

смотрел в окно. Макар подошел и остановился рядом. Поинтересовался:

— Анну ждешь?

— Чего мне ее ждать, — ответил Иван. — Мне денег надо.

— Думаешь, даст? — сказал Макар понимающе. — Она, Ваня, не даст.

— Что я, на бутылку, что ли, прошу? Собаку куплю. Таковую собаку за десятку! Можно сказать, даром. Охотничья собака, породистая. С такой собакой...

Тут окошко почты распахнулось и в него высунулась Анна.

— Полно брехать-то, — сказала Анна. — За щенка какого-то десять рублей. Их так отдают, и то никто не берет.

— Дворяняг отдают! — перебил Иван. — А такого щенка поди найди-ка! Их всего два у него и осталось. Это я уж попросил, чтобы пока не отдавал никому. А то снесет на базар и конец. Любой возьмет. За десятку-то...

— И думать не думай, — сказала Анна, хлопывая окно. — Сказала не дам и иди давай, топай. — Последние слова Анна пробурчала вполголоса, так что Иван не мог ее услышать, зато кассирша Тоня Лебекина и почтальонша Настя Давыдкова горячо поддерживали.

— Им что ни день, то новая блажь, — сказала Тоня, — а ты крутись как знаешь.

— Это один предлог, что на собаку, — добавила Настя. — Вон и этот вьется, Макар. Сам не хуже собаки. Ждет, что и ему перепадет.

Встретив сочувствие, Анна объяснила:

— У меня Маринке на форму отложены, а ему собака. Так я ему и отдала, нашел дуру.

— Ладно... — сказал Иван, когда Анна хлопнула перед ним окно. — Я ей всю зарплату до ко-

пеечки, а она мне десятки пожалела. Ладно... Пускай...

— Не расстраивайся, Ваня, — принялся утешать Макар. — Что-нибудь придумаем. Хочешь, я к Трофиму схожу, попрошу?

Иван только махнул рукой. Во всем селе не было человека, который дал бы Макару хоть полушку. Разве только какая-нибудь старуха подаст в праздник пяточок Христа ради.

— А то пойду и у попа возьму, он мне должен, — соврал Макар. — Я у него вчера работал и еще давеча, а денег ни грамма не брал. Сколько тебе нужно-то, десять рублей? Сейчас пойду и возьму.

Макар повернул и решительно зашагал к дому отца Захария. Иван пошел следом, хоть и не очень надеялся, что Макар сумеет раздобыть денег. Но что делать? Попытка не пытка. А тут собака из рук уплывает.

Возле дома отца Захария Макар остановил Ивана. — Ты погоди тут, я сейчас.

Иван остался у калитки, а Макар взошел на крыльцо и скрылся в сенях.

— А, это ты, — сказала Алексеевна. — Я уж думала, не придешь. Инструмент свой, вишь, бросил, а сам куда-то подался, бесстыдник. Воспользовался, что я на минуту отлучилась.

— Не, ты погоди, — перебил ее Макар. — Я ведь приходил. Честно, как договорились. Захожу, смотрю, открыто все, а тебя нету.

— Ну и что? — возразила Алексеевна. — Взял бы да подождал.

— Так я думал... вроде, нехорошо получается... Нету никого, а не дай Бог, кто зайдет... Ты это... Дверь-то запирай, когда уходишь. — После этого Макар перешел к делу: — Брат, понимаешь, у меня из Тарасовки приехал. В гости. Дай десять рублей.

— Ты что? — засмеялась Алексеевна. — Работать не работал, а деньги просишь.

— Не работал? — переспросил Макар удивленно. — Почему не работал? Давеча работал...

— Когда это ты работал?! — вскинулась Алексеевна. — Еще врать будет! Давай иди отсюда!

— Не, ты погоди, — заговорил Макар уже пятась. — Хочешь, завтра приду? С утра прямо. Чего делать-то надо? Крышу, что ли? Сделаю. Все сделаю. Как скажешь, так и сделаю.

— Сделаешь и хорошо. А то все обманываешь. Обещаешься, а не приходишь. Что, как дождь пойдет? Крыша худая вовсе.

— Приду. Сказал, что приду, значит, приду. Как Бог свят.

— Ладно тебе Бога-то поминать, бесстыдник!

— Ну, не буду, — согласился Макар. — Дай десять рублей.

— Когда сделаешь, тогда и дам.

— Ну, хоть пятерку, — уступил Макар. — Брат, понимаешь, ждет. Из Тарасовки приехал.

— Иди ты со своим братом! — возмутилась Алексеевна. — Работать никак не дозовешься, а денег подай.

«Есть ведь у нее деньги, — подумал Макар. — У меня были бы, я бы кому хочешь дал. Любой попроси... Хоть тысячу, все равно бы дал. Эх, люди-сволочи! А еще в Бога веруют!...»

— Да я разве...

— Иди, иди! — сказала Алексеевна, отгесняя Макара к двери. — Думаешь работать, так работай, а нет, так нет. Нечего.

Макар попытался ухватиться за косяк.

— Ты погоди... Это...

Но Алексеевна не стала слушать, закрыла дверь и ушла.

Оказавшись на крыльце, Макар постоял, точно

надеялся что-то еще предпринять, наконец обернулся и встретился взглядом с Иваном.

— Ну что? — спросил Иван.

Макар молчал.

— Так и думал. — Иван зашагал прочь.

— Не в том дело, Иван, — сказал Макар, поспешно догоняя кума. — Помочь человеку хотел, а он!..

— Я ведь знал, что ты брешь, — добавил Иван. — Только время с тобой потерял.

— Не в том дело, — повторил Макар, на ходу сочиняя себе оправдание. — Тут, Иван, знаешь какая история...

Иван шагал, не обращая на него никакого внимания.

— Тут поважнее твоей собаки будет. Тут, может, убийство, а ты — собака... — При последних словах Макар немного смутился и отвел глаза в сторону.

— Какое еще убийство? Что болтаешь? — спросил Иван недоверчиво, однако остановился.

Драки у них в селе случались, однако до убийства пока не доходило.

— По всему видно, — принялся объяснять Макар. — Я, значит, захожу, никого нет. Все раскидано. После гляжу — кровь на полу... Вот такая история. Надо в сельсовет идти — заявлять.

— О чем заявлять?

— А как же! Видать, попа нашего... того... кто-то...

— Кому он нужен — поп твой.

— Кому-то понадобился, значит. Деньжата-то у него водились. Я сам давеча видел, — зашептал Макар, хотя на всей улице, кроме них с Иваном, никого не было. — Алексеевна как полезла в гардероб, а оттуда пачка и вывалилась — толстая, все десятки. Эх, думаю, нам бы такие деньги!.. Долго ли — зашел кто, да и прибрал. А тут поп, видно, на беду и войди. Ну, и тюкнули его...

— Ты-то почему знаешь? Тюкнули!..

— Знаю. По всему видно...

— Что видно-то? Эх-х ты!

— В общем, я знаю... После скажу, — ответил Макар таинственно. — Пойду заявлять.

— Чего заявлять? Если и тюкнули, так без тебя узнают, — рассудил Иван. — Алексеевна пускай заявляет. Она ему ближайший человек, а ты вовсе ни при чем. Тем более, поп.

— Не, еще на меня подумают. Я ведь у них работал. Инструмент там мой...

Иван посмотрел на Макара недоверчиво, повернулся и снова пошел к дому отца Захария.

— Ты куда? — засуетился Макар.

— Погляжу, — ответил Иван.

— Не ходи лучше, ну его, еще и ты попадешь.

— Чего мне бояться, — сказал Иван.

Он поднялся в сени, постоял немного, пока глаза не привыкли к полумраку, огляделся. Из кухни выглянула Алексеевна.

Иван поздоровался и спросил отца Захария.

— В церкви он, — объяснила Алексеевна. — А тебе на что? Или опять крестить собрался? Ты, почитай, последний раз Бога вспомнил, как Марию свою крестил.

— Угадала, — сказал Иван и через плечо Алексеевны заглянул в комнату.

Все стояло на своих местах и в порядке — и скатерть на столе, и пол сухой, чистый.

— Ишь ты, — удивилась Алексеевна, — старый ведь ты уже мужик, Иван, а все детьми обзаводишься. Сколько их всего-то у тебя?

— Всего? — переспросил Иван, точно не понимая. — Одна Маринка и есть.

— Одна! Гляди ты! А Клавдиных уж позабыл? Да и еще, верно, есть.

— Кто их знает, может, и есть... Я не считаю.

Алексеевна укоризненно покачала головой.

— Ладно, — сказал Иван, — прощай, после, может, зайду.

Он спустился с крыльца. Макар топтался у калитки, стыдливо поднял на Ивана глаза и спросил с надеждой:

— Ну что?

— Лечиться тебе следует, — сказал Иван наставительно. — Езжай к врачу. Или к фельдшеру вон зайди, он тебе направление даст, в город поедешь. Это у тебя, видать, горячка.

Макар остался стоять, а Иван ушел искать десять рублей. Такой щенок редкостный! В городе бы за него тридцатку дали. Анна дура, ей не понять. Деньги у нее где-то есть, девчонке на форму откладывала. Но куда она их запрятала?.. Поди ж ты, разведай...

Макар смотрел в спину удаляющемуся Ивану. Помочь человеку хотел, а он — лечиться тебе надо. Сам лечись! За что обидел, за что оскорбил?.. Макар заплакал. Кругом никого не было. Макар посмотрел по сторонам, вытер лицо кепкой и подумал было идти домой. Но ноги понесли его в другую сторону, к реке.

На этой стороне парома не было. Макар загородился ладонью от солнца, взгляделся и увидел маленькую фигурку деда Григория. Чтобы дед его заметил, Макар покрутил в воздухе рукой, покричал и уселся ждать. Тут он снова почувствовал, что его кидает то в жар, то в холод. Вспомнил злые слова Ивана и всхлипнул.

Наконец, паром стукнулся о бревно, которое служило причалом, и дед спросил:

— Ну, ты чего?

Макар встал, подошел поближе, потер щетинистую щеку.

— Налил бы ты мне, дед...

— Сдурел, — сказал Григорий, — что ж я ее, с собой ношу?

— Заболел я, согреться надо...

— Ты мне и так за две бутылки должен, больше ни грамма не дам.

— Не давай, — сказал Макар обиженно. — Не хочешь, не давай. Всё одно... — Он наклонил голову и принялся теревить свою кепку.

Вид у него, действительно, был нехороший. Григорий вздохнул и ушел в будку. Там он порылся в тряпье, сваленном в углу, вытащил початую литровую бутылку, граненый стакан, налил, поставил стакан на ящик, бутылку спрятал на прежнее место и вышел со стаканом к Макару. Макар дрожащей рукой принял самогон, выпил, крикнул, утер рот ладонью и вернул Григорию стакан.

— А ты, милоч, не расстраивайся, — сказал Григорий. — Плюнь... Пусть себе, кто их разберет...

— Эх, дед, — прикрикнул Макар. — Не знаешь ведь, в чем дело, а говоришь... Слишком я добрый, дед, вот что плохо. Нынче так нельзя. Нынче каждый о себе думает. А Макар о себе не думает, Макар все людям помочь хочет.

Григорий покачал головой и ушел на паром.

## II

Тем временем по Оке из Москвы в Горький двигался беленький теплоход. В разных каютах ехали разные люди. Каюты первого класса почти все были пусты. Очевидно, это объяснялось тем, что и второй класс был достаточно удобен: мягкие диваны, тут же в каюте умывальник, из широкого окна вид на речной простор и уплывающий назад берег. Третий класс располагался пониже и был попроще: малиновых портьер и тяжелых ковров ему не полагалось. В четвертом класса стояла духота; металлический пол, весь в заклепках, накалился и дрожал от расположенных под ним машин. Маленькие круглые иллюминаторы не

открывались вовсе, потому что приходились вровень с водой, и зеленые мутные волны то и дело затягивали их. В четвертом классе не было ни одного свободного места. Хотя как будто пассажирам никто не возбранял выходить отсюда и подниматься на верхние палубы, они этого не делали. Все сидели в духоте на своих койках и питались припасенными заранее огурцами и крутыми яйцами. Буфетов и ресторана четвертый класс не посещал.

Михаил ехал в третьем классе, с вечера у него разболелась голова и до самого рассвета он не мог уснуть. Ворочался на своей постели, заглядывал в темное окно. Иногда вдали, на берегу, возникали огни какого-нибудь городка или поселка, но чаще все было пусто. Утром Михаил вышел на палубу, на самый нос. Свежий ветерок, возникавший от движения, заставил его накинуть поверх рубашки куртку. Теплоход то и дело останавливался, пассажиры спускались на берег размять ноги.

Михаил взглянул на часы. Половина второго. Осталось плыть полтора часа. Правый берег сделался крутым и высоким. Теплоход сбавил ход и ткнулся боком в пристань. «Домик Есенина», — сказал кто-то за спиной у Михаила. Обитатели второго и третьего классов высыпали на мостки и по пыльной загаженной коровами тропинке полезли в гору. Четвертый класс домиком поэта не интересовался, предпочитая сторожить собственные вещи. Михаил тоже сошел на берег и вслед за остальными стал карабкаться в гору. Впереди с трудом переставлял ноги грузный мужчина. Женщина средних лет, несколько более легкая и проворная, то и дело останавливалась, поджидая его. Михаил еще вчера заметил эту пару. На обоих были огромные круглые очки по последней моде.

— Боже, какая пылица, — сказала женщина. — Абсолютно никакой зелени. Что он мог тут описывать?

Мужчина ничего не ответил, лишь громче засопел, зато откликнулся какой-то другой турист.

— Да, странно... Откуда тут взяться вдохновению... Малопривлекательное место...

Возле тропинки рылись в пыли две пятнистые свиньи.

— Надеюсь, они не кусаются, — сказала женщина.

Ее спутник лишь тяжело дышал.

Одолев, наконец, кручу, пассажиры сгрудились возле ближайшего плетня и принялись вслух читать укрепленную на столбе табличку: «В этом доме родился и провел детские годы известный русский поэт...»

Михаил глянул на соседние избы — они ничем не отличались от дома поэта, — потом обернулся и посмотрел вниз.

Широкая гладкая Ока уходила далеко вправо и влево. Несколько беленьких пароходиков казались маленькими и неподвижными. На том берегу, покрытом сочной зеленой травой, голубыми двойниками Оки лежали старицы. Темная полоса леса отделяла землю от неба, и где-то там, возле леса, поблескивала последняя старица. Узкая длинная речонка тянулась к Оке. Она столько раз изгибалась и петляла, что, казалось, лежала тут вся, целиком, от самого своего истока до устья. Голубое высокое небо гляделось в Оку, в озера стариц, в извивающуюся среди яркой травы речушку...

Михаил вдруг заметил, что остался возле плетня один. Несколько человек еще стояли за билетами, остальные уже входили в избу. Мужчина в круглых очках долго копался во внутренностях своего кошелька, наконец, извлек два гривенника и сунул в окошечко. Михаил протянул рубль.

— Мелочь давайте, — сказала девушка.

— Нету. Вот. Две копейки всего, честное слово.

— Ладно, проходите так. — Девушка вернула Михаилу его рубль.

Мужчина в очках обернулся и бросил на Михаила подозрительный взгляд. Сказать, однако, ничего не сказал.

В избе оказались иконы, сундуки, стол, самовар. Полотенце, собственноручно вышитое матерью поэта. Пассажиры вполголоса поделились мнениями, решили, что смотреть особенно не на что, и гуськом запрыгали вниз, к своему теплоходу.

Выйдя из избы, Михаил снова постоял, посмотрел на реку, на старицы, окруженные зелеными травами, на темную ниточку леса. Теплоход загудел призывно, и Михаил бросился догонять своих попутчиков. Навстречу ему от реки подымались две женщины в длинных полинявших ситцевых платьях. Женщины уверенно ступали босыми ногами по крутой, скользкой от пыли, тропинке. Правой рукой каждая придерживала коромысло, на котором неподвижно висели ведра. Поравнявшись с Михаилом, они не подняли глаз, но незаметно посторонились.

На теплоходе Михаил прошел в свою каюту, забрал чемодан и спустился на нижнюю палубу. Опершись о борт, стал смотреть вниз, на воду. Было немного жаль, что ему уже сходить, а все остальные поплывут дальше, к Горькому. Через шесть дней другим путем — по Волге и каналу — теплоход вернется в Москву. Когда Михаил уезжал, мать утверждала, что он не выдержит скуки и через неделю сбежит. А то и раньше. Когда-то давно родители отправляли его к бабушке на все лето, а сами уезжали куда-нибудь к морю, на юг или в Ригу. Потом он подрос и тоже ездил на юг, на Карпаты, на Урал и на целину — с институтом. В этом году ему вдруг взбрело в голову навестить бабушку и поглядеть на места, где он бегал голопузым малышом.

Михаил поднял глаза от воды, бесконечным пото-

ком струившейся за бортом, и поглядел на берег. Над крутым обрывом, прежде совершенно голым, теперь нависали шапки деревьев. Теплоход входил в шлюз. Михаил поднял чемодан и двинулся к воротцам, где уже топталась пара в марсианских очках и несколько пассажиров четвертого класса — один мужчина, остальные женщины. Теплоход подбивало к берегу, но слишком медленно. Вода уже начинала падать.

— Давай, Вася, кидай, — сказала одна из женщин. — Не то останемся.

За борт посыпались узлы, плюхнулся на траву дешевенький чемоданчик, за багажом последовали его владельцы. Михаил решил не отставать, швырнул свой чемодан и перемахнул на берег. Теплоход стукнулся о деревянную стену шлюза и так же медленно начал удаляться от нее.

— Кидай, Костя, прошу тебя, кидай чемоданы! — взволнованно убеждала своего спутника женщина в очках.

— Это сумасшествие, Мила.

Михаил невольно оглянулся на этот голос.

— Разрешите, я вам помогу, — предложил он женщине.

— Умоляю вас! — она с живостью протянула Михаилу оба чемодана и, уцепившись за его руку, выбралась сама.

Мужчина оставался на теплоходе.

— Костя, ну что же ты? Ах, мой зонт! — вспомнила женщина. — Костя, брось зонт!

— Неужели нельзя сделать тут остановку? — возмутился мужчина. — Хотя бы на две минуты.

— О чем ты говоришь! Прыгай скорее!

— Я даже не предполагал... — мужчина попытался задрать ногу на борт, но это ему не удалось. — Нет, я еду до пристани.

— Ты с ума сошел! — Женщина заметалась по

берегу. — Пятнадцать километров! Ты же оттуда не выберешься!

— Я говорил, что надо ехать на машине. Вечные твои фантазии!

Теплоход между тем погружался.

Женщина беспомощно оглянулась и накинулась на Михаила.

— Молодой человек! Что же вы стоите? Помогите! Вытащите его как-нибудь оттуда!

Михаил присел на корточки, подхватил мужчину под мышки, но тот оказался весьма тяжелым. Женщина принялась помогать.

— Вставай на борт! Костя! На борт!

В конце концов общими усилиями мужчина был извлечен с теплохода. Михаил подхватил чемодан и стал карабкаться в гору. Берег в этом месте спускался к реке почти отвесно. Приходилось то и дело хвататься свободной рукой за траву, лишь бы не съехать обратно. «Ну и восхождение», — подумал Михаил и представил себе, как будут взбираться наверх Костик и его спутница. Однако эту заботу он решил оставить им самим и больше не оборачивался.

Михаилу казалось, что он помнит и село, и бабушкин дом, но теперь выяснилось, что улицы идут вовсе не так, как он себе представлял, а избы все похожи одна на другую. Кругом не было ни души. Михаил прошел утопавшей в садах улицей и попал как бы на площадь, вокруг которой расположились хлебопекарня, магазин и почта. Михаил решил, что на почте ему скорее всего помогут найти бабушку. Действительно, женщина, сидевшая за барьером, охотно оставила свое место и вышла на крыльцо показать, в какую сторону идти. Эта улица была совсем не похожа на ту, что вела к реке. Сады исчезли, в палисадниках росли только цветы да какие-то кустики, а позади домов тянулись обширные огороды. Перед одной избой, прямо посередине улицы, складывали новый сруб. Михаилу

это показалось странным. Он с недоумением поглядел на работавших людей, обогнул препятствие и увидел бабушкин дом. Узнал все-таки! Крылечко, сени, терраска. Стеклышки потрескались, кое-где выпали. Михаил поднялся на крыльцо и толкнул дверь. Она оказалась незапертой.

Теплоход отшлюзовался и ушел, а Константин Павлович никак не мог прийти в себя.

— Что за легкомыслие, не понимаю! — негодовал он. — Ты не могла не знать! Неужели, по-твоему, я должен скакать как мальчишка? Посмотри, теперь у меня весь костюм в какой-то дряни. — Он брезгливо дотронулся пальцами до пятна. — Что это, мазут? Безобразие!

Екатерина Денисовна старалась пропускать его слова мимо ушей, чтобы не ответить какой-нибудь резкостью. Она поглядывала на обрыв, соображая, что предпринять дальше.

— Костя, ты посиди тут, а я подымусь, — сказала она. — Попрошу кого-нибудь, чтобы занесли вещи.

— Уж чемоданы-то во всяком случае нужно было отправить с машиной!

— Ну что ты говоришь! — ответила Екатерина Денисовна раздраженно, но тут же взяла себя в руки и рассудительно добавила: — Как это можно — остаться без вещей, а вдруг бы переменялась погода, не иметь даже возможности переодеться. Всегда нужно быть готовыми ко всему.

— Вот именно, — буркнул Константин Павлович, опускаясь на один из чемоданов.

Екатерина Денисовна ушла. Константин Павлович почувствовал себя одиноко и неловко. Последние двадцать лет он выезжал из Москвы только в заграничные командировки и в санатории — отдыхать. И вот — очутился внезапно на этом пустынном берегу... Ничем не защищенный... Абсурдное, недостойное положение.

А пекло какое! Ни малейшей тени. На теплоходе, по крайней мере, солнце не так палило. В конце концов, можно было взять билеты на весь рейс и через шесть суток благополучно вернуться домой. Так нет — обязательно потребовалось сойти в этой дыре...

Константин Павлович ерзал на чемодане, проклинал свою покладистость и поминутно вытирал голову носовым платком. Раздражение его росло. Какая не-серьезность! Ведь заранее было ясно, что кроме неудобств, от этой поездки ожидать нечего. Подумать только — сидит неизвестно где, один, в перепачканном костюме. Нет, давно пора освободиться от всего этого. Собственно, Константин Павлович только для того и согласился ехать, чтобы откровенно переговорить с Милой и покончить миром. Сделать завершающий аккорд... Должна же она понять, что так не может продолжаться вечно. В конце концов, у него семья, и сложившееся двусмысленное положение становится попросту опасным. Врагов и завистников полно кругом. Только дай повод. Он не может жить в постоянном напряжении. Да и ради чего, спрашивается? Конечно, были приятные моменты... Константин Павлович вспомнил, как он в первый раз увидел Милу. Приехал в министерство на какое-то совещание и случайно заглянул в комнату, где она сидела. А вечером уже он повез ее в «Узбекистан». Помнится, на ней была длинная широкая юбка с громадными карманами у самого низа... Да, карманы оказались бездонными... Из ресторана поехали к какой-то подруге. Потом снял для нее комнату, бывал каждый вечер. К праздникам корзины цветов посылал... Все было... И шампанское, и коньяк... Да... Однако чувства давно перегорели...

Воспоминания Константина Павловича прервал сишный мужской голос.

— Чего эт-ты... тут сидишь? — сказал голос.

Константин Павлович вскинул голову и увидел

всклокоченную небритую физиономию с мутными глазами.

— Да вот... сажу... — ответил Константин Павлович вполне миролюбиво.

— Почему сидишь? — не унималась физиономия. Константин Павлович промолчал.

— Я тебя спрашиваю, кто ты таков! — гаркнула физиономия.

При этом серые бумажные брюки качнулись перед самым носом Константина Павловича. Он невольно отпрянул.

— Молчишь?... А? Почему такое молчишь?... Как фамилия?

— Какая тебе разница? — сказал Константин Павлович. — Ты меня не знаешь. — При этом он поглядел на гору — не покажется ли оттуда Мила.

— Не знаю? — переспросил пьяный удивленно и, мотнувшись в сторону, подтвердил: — Не знаю! И-с-детства тут живу, а тебя не знаю. Кто таков? Чей будешь?

— Вас это не касается! — сказал Константин Павлович строго и повернулся к брюкам боком.

Однако они тут же опять оказались у него перед глазами.

— Как это не касается?... Кого это... не касается? Меня... касается! Говори, кто такой! — грязная рука потянулась к светлому костюму Константина Павловича, и без того уже пострадавшему от мазута.

Константин Павлович вскочил на ноги. Хоть он и приехал, так сказать, инкогнито... но, в конце концов, всему есть мера!..

— Ну ты! — сказал Константин Павлович, внезапно вспомнив свое фабрично-заводское детство. — Давай валяй отсюда! А то враз у меня улетишь!..

Однако пьяный не отступил.

— Ах ты, гнида! — завопил он обрадованно. — Ты мне грозить будешь? Макару грозить? Да я тебя...

Как возьму что потяжелее... — и он стал озираться, подыскивая подходящее орудие.

Странно — вдруг Константину Павловичу почудилось, что ему уже никогда не выбраться отсюда, с этого побуревшего от жары берега, не видать больше Москвы и своего учреждения. Он невольно глянул на реку, вслед исчезнувшему за поворотом теплоходу, и ему сделалось тоскливо. Нет никакой возможности показать, кто он такой, и заставить хотя бы уважать себя!..

Неизвестно, чем бы кончилось его первое знакомство с местным жителем, если бы в этот момент из дверей электростанции не показался Трофим. Он уже минут пятнадцать наблюдал в окно, как Макар пристаёт к какому-то городскому гражданину. Вмешиваться в это дело Трофим не собирался, пока не сообразил, что сейчас как раз подходящий момент договориться насчет покоса. Пока Макар еще не набрался окончательно. Не спеша обогнув шлюз, Трофим ступил на берег.

— Слышь, Макар, — позвал Трофим громко, но Макар продолжал шарить в траве и не обернулся. Трофим подошел ближе и тронул Макара за плечо. — Погоди-ка ты...

Макар наконец отыскал нужный камень, сбросил Трофимову руку со своего плеча и двинулся на Константина Павловича.

— Падаль! Еще грозить Макару будет! Да я тебя!.. Пришибу, сволочь такую!.. Обмануть Макара думает!

— Чего это ты? — сказал Трофим. — Сидит человек спокойно, тебя не обижает, значит, и ты его не трожь.

У Макара было свое мнение на этот счет.

В душе у него клокотала обида, нанесенная ему Иваном. Ну, обругал бы, ну... в морду дал бы. Разве Макар когда на это обижается? Макар не обижается.

Терпел и еще потерпит. Но зачем про горячку наплел! Унизил! Лечиться, говорит, тебе надо! Как алкоголику какому... Мог бы по-хорошему сказать, а не так — оскорбил человека, и повернулся, и пошел!.. Да Макар сам кого хочешь оскорбить может. Чего ему бояться? Некого ему бояться! Этого что ли, в костюмчике? Да он, если захочет, пойдет с артелью, зашибет деньгу, еще не такой костюм справит! Подумаешь, расселся! Кто такой? Зачем явился? Небось, Макар не дурее других!..

— Отвечай, когда спрашивают! — заорал Макар и совсем было хотел кинуться на Константина Павловича, но Трофим крепко сжал его руку и поволок в гору. Макар попытался тормозить ногами, споткнулся и упал на четвереньки.

— Возмутительное безобразие, — сказал Константин Павлович и вытащил из кармана блокнот с заграничным карандашиком, — сообщите мне его фамилию.

— У нас фамилия на полсела одна, — ответил Трофим уклончиво, приподнял Макара, поставил на ноги и приказал: — Иди, дура! Чего ты с ним связался? На кой шут он тебе понадобился?

Макар хотел объяснить все по порядку, но никак не в силах был поймать нужные слова, сник, припал головой к Трофиму и заплакал.

— Ну, ну, — сказал Трофим. — Будет тебе... это... Слушай, чего скажу... Ты свою часть косить-то собираешься?

— А? — не понял Макар.

— Косить-то, говорю, будешь нынешний год? — терпеливо повторил Трофим.

— Какое косить! — Макару даже смешно стало.

— Так, может, мне уступишь?

— Чего?

— Чего! Делянку свою. Не задаром, конечно...

— Трофим вытащил из кармана заранее подготов-

ленную на этот случай истрепанную и сморщенную трешку.

Макар окончательно сообразил, что от него требуется, и выговорил решительно:

— Спрячь, спрячь ты ее! Так бери! Бери, коси, делай, что пожелаешь. На что она мне? Коровы у меня нету, на что мне сено? Не надо мне. Ничего мне не надо! Да я что хочешь отдам. Хочешь, рубаху вот отдам? — При этих словах он остановился, покачиваясь, и принялся сдирать с себя грязную истасканную рубаху.

— Перестань, — сказал Трофим. — На что мне твоя рубаха? Я с тобой о деле...

Но Макар стоял на своем:

— Последнее отдам, ничего не пожалею! Кому хочешь отдам... — он высвободил голову, выдернул одну за другой из рукавов руки и принялся совать рубаху Трофиму. — Скажи: Макар, отдай рубаху — отдам! Скажи: отдай портки — отдам!

Трофим почувствовал, что делянки ему не получить, махнул рукой и направился обратно к электростанции. Макар последовал за ним.

— Слышь-ка, — сказал он, забегая сбоку, — дай десять рублей!

— Да ты что! — возмутился Трофим. — Куда ж это! Да там всего-то восьми пудов не наберешь. Коси его, да вороши, да копни, да вези, да половину колхозу отдай! Э-эх!.. Уж лучше я на базаре три пуда куплю, чем мне с тобой связываться!..

— Стой-ка! — заволновался Макар. — Я ведь не за делянку. Бери ее, делянку, так бери, делай с ней, что хочешь? А деньги я тебе после верну, отдам! Ты что, не веришь? Я ведь в долг только прошу. Не для себя! Макару для себя ничего не надо! Для друга прошу, для Ивана. Собаку он покупает, настоящую, породистую.

— Вот хочешь три рубля — бери, — сказал Трофим. — И Маруське твоей пятерку снесу.

— Маруське не надо, — тотчас решил Макар.

— Ну да! А после она ко мне прибежит, будет орать — зачем Макару дал, а мне не дал.

— Да пусть себе орет!

— Тебе пусть, а мне это ни к чему — чтобы люди языками брехали.

Макар принялся усердно мять рубаху, которая так и осталась у него в руках, потом швырнул ее в пыль и пнул ногой.

— Обмануть Макара хочешь. Думаешь, если Макар выпивши, так его обмануть можно. Макар хоть и выпивши, а не дурее тебя! Пускай она к чертям вся выгорит, делянка эта! Плевал я! На Макаре не наживешься!

— Пошел ты!.. — сказал Трофим и сам зашагал к шлюзу.

— Ну рубль-то прибавь! — попросил Макар, подсакивая сбоку и заглядывая Трофиму в лицо.

Тот молчал.

— А Маруське и четырех хватит, а? На что ей пятерка?..

Трофим вздохнул, но рубль прибавил.

— Полечиться бы тебе, Макар... Семья ведь у тебя, ребятишки...

Макар засопел, принял деньги, подобрал свою рубаху, натянул и заспешил к парому.

— Эй, дед! — закричал он задиристо. — Что ты там давеча говорил — сколько я тебе должен? За Макаром не пропадет! На, держи! Давай, волоки бутылку! Где ты там ее прячешь, крыса старая?

Григорий рассмотрел деньги, спрятал за пазуху и не спеша направился в свою будку. Затем он вынес Макару поллитровку. Макар отпил маленько из горлышка — проверить качество, остальное заткнул

пробкой, сунул в карман штанов и, весело попрощавшись с дедом, полез наверх.

На улице он едва не столкнулся с каким-то чудическим лупоглазым. Оказалось — всего-навсего баба, только очки на ней зачем-то, как у мотоциклиста.

Екатерина Денисовна страшно обрадовалась появлению живого человека. А то кругом все заперто, пусто, прямо как повымерли все. Полсела обежала и — никого!

— Простите, — обратилась она к Макару. — Не знаю, как вас величать... Не можете ли вы нам внести вещи?

— Помочь? — отозвался Макар. — Отчего не помочь! Можно помочь... Помочь — это пожалуйста...

Тут Екатерина Денисовна заметила, что он весьма нетвердо держится на ногах.

— Нет, знаете, не надо, — сказала она. — Идите! Идите...

Но Макар и не думал никуда идти. Хоть и в очках, а вообще ничего бабенка... Стоит поговорить.

— А вы, интересно знать, кто такие будете? — приступил он с расспросами. — Откуда прибыли? В гости... или как? А? Интересно знать...

— Да идите вы! — прикрикнула Екатерина Денисовна.

— Почему это мне идти? — промычал Макар обиженно. — Я тут и-с-детства живу, а вы кто такие?..

Екатерина Денисовна отвернулась и молчала.

Макар качнулся, расвирепел и заорал:

— Кто такая будешь, говорю!

— Господи Боже мой, что же это такое, — простонала Екатерина Денисовна, окидывая взглядом пустую и пыльную улицу.

Вдруг на веранде соседнего дома распахнулась дверь. На крыльце показался средних лет мужчина в свитере и валенках. Пока Екатерина Денисовна разду-

мывала, как ей обратиться за помощью, мужчина сам заметил ее и, вздымая валенками раскаленную пыль, припустил навстречу.

— Екатерина Денисовна! Подумайте! А мы только вчера о вас вспоминали. Как приятно, что вы приехали!

Екатерина Денисовна лихорадочно пыталась вспомнить, кто это может быть. Кажется, какой-то московский литератор. Ее еще знакомили с ним в прошлый приезд... Как же его имя-отчество?.. Она, разумеется, тотчас забыла... Впрочем, сейчас это не столь важно...

— Да... — Екатерина Денисовна заставила себя улыбнуться. — Вот приехали... Хотела попросить, чтобы внесли вещи, а тут никого нет. Буквально никого...

Макар постоял, послушал разговор, что-то проворчал и пошел своей дорогой.

— Время такое — страда, — объяснил литератор. Он сам писал на деревенские темы. В свое время один из его колхозных романов даже был удостоин Сталинской премии. — Нынче, как говорится, день год кормит. Все в поле. Погода для уборки — лучше не придумаешь! — и он обвел долгим одобрительным взглядом безоблачное небо.

Екатерина Денисовна тоже подняла глаза вверх, хотя погода и уборка в данный момент ее мало волновали. «Как же ему намекнуть?» — думала она.

— Не знаю, как быть, — она выразительно посмотрела на своего собеседника. — Муж сидит там внизу с вещами... У него, видите ли, сердце... Категорически запрещено подымать тяжести.

— Так идемте! — вскричал литератор. — Что же мы тут стоим? Идемте! Где вы его оставили?

Упоминание о муже весьма заинтриговало его. Он-то знал доподлинно, что Екатерина Денисовна окончательно разошлась со своим мужем восемь с половиной лет назад. Также ему было известно, что она

состоит в давней и, очевидно, достаточно прочной связи с одним весьма авторитетным товарищем. Зинаида Денисовна, сестра Екатерины Денисовны, которой, собственно, и принадлежал здешний дом, любила при случае коснуться этого факта. Хотя имя товарища не произносилось, все прекрасно знали, о ком идет речь. Уж не он ли теперь и прибыл сюда?..

Завидев Милу, Константин Павлович, весь красный от жары и негодования, поднялся с чемодана. Следом за Екатериной Денисовной, подпрыгивая при каждом шаге, спускался какой-то странный субъект в валенках. «Наверно, сторож», — подумал Константин Павлович. Мужчина в валенках приблизился, вежливо улыбнулся и протянул Константину Павловичу руку.

— Старцев Елисей Аполлинарьевич.

Настоящая фамилия Елисея Аполлинарьевича была не Старцев, а Поскребкин, но он находил ее недостаточно благозвучной и поэтому подписывал свои произведения псевдонимом.

Константин Павлович пробурчал в ответ что-то неразборчивое и накинулся на Екатерину Денисовну:

— В чем дело? Куда ты пропала? Ты же знаешь, что я не переносу жары! Сижу целый час на самом солнцепеке!

Екатерина Денисовна принялась успокаивать его:

— Ах, Костик! Никого не могла найти. Встретила какого-то мужика, совершенно пьяный, на ногах не стоит. Вот Елисей Аполлинарьевич любезно согласился нам помочь...

Поскребкин-Старцев мигом подхватил оба чемодана и, галантно пропустив вновь прибывших вперед, полез на гору. На середине склона была небольшая площадка. Путники воспользовались ею, чтобы немного отдохнуть.

— Как там Зинаида Денисовна? Что пишет? — осведомился Поскребкин. Он знал, что Зинаида Денисовна уехала с мужем на два года в Париж.

— Ну что? — ответила Екатерина Денисовна. — Скучает ужасно! Языка не понимает... И потом... там вообще не полагается сотрудникам общаться с кем попало... Первое время, пишет, все по магазинам ходила, но тоже ведь надоедает. Хорошо хоть жена одного нашего дипломата научила ее вязать крючком. Теперь почти все время вяжет. Прислала мне прелестную кофточку, собственного, так сказать, производства. — Екатерина Денисовна кокетливо улыбнулась.

Елисей Аполлинарьевич понимающе кивал головой.

Константин Павлович двинулся дальше. Екатерина Денисовна и Старцев последовали за ним.

Наконец подошли к дому. Елисей Аполлинарьевич осторожно опустил чемоданы на траву, Екатерина Денисовна порылась в сумочке, вытащила ключ и, прищурившись, стала совать его в огромный проржавевший замок.

Замок не поддавался.

— Позвольте, — вызвался Старцев, но тоже не сумел открыть. — Одну минутку, — сказал он. — Я сейчас масленку принесу. Надо прокапать, а то заржавело. Сию минутку!

Он вернулся с масленкой, в замок накапали масла и снова по очереди пытались открыть. Константин Павлович первый оставил это занятие. Ему казалось, что его вот-вот хватит удар. Чёрт знает что! Сначала вынужден был, как безбилетник, прыгать с теплохода, затем сидение на солнцепеке, потом влез на такую кручу, а теперь еще, оказывается, и в дом невозможно попасть!

«Прекрасно! Прекрасно!», — повторял Константин Павлович про себя, усаживаясь на узенькую лавочку возле крыльца. Пиджак он снял, но мокрая рубашка накрепко прилипла к телу.

Оказаться бы сейчас в Москве, в своей квартире, принять душ, переменить белье...

Поскребкин завладел ключом и еще минут двадцать крутился возле замка.

— Только, ради Бога, не сломайте ключ, — время от времени предупреждала Екатерина Денисовна.

— Вы уверены, что это ключ именно от этого замка? — спросил Елисей Аполлинарьевич.

— Ну, конечно, что за глупости, — возмутилась Екатерина Денисовна.

Елисей Аполлинарьевич вынужден был сдаться.

— Ничего, ничего страшного! — сказал он бодро. — Идемте ко мне. Отдохнете пока немного, а я тем временем что-нибудь придумаю.

Константину Павловичу оставалось только встать с лавки и покорно следовать за писателем.

— Пожалуйста, прошу вас, — приговаривал Старцев.

— Благодарим, — сказала Екатерина Денисовна. — Мы вам доставляем столько хлопот.

— Ну что вы! — запротестовал Елисей Аполлинарьевич. — Мы ведь как-никак соседи. — Он радушно улыбнулся, подхватил чемоданы и повел дорогих гостей к своему дому.

Тут он усадил Константина Павловича и Екатерину Денисовну на террасе, завешанной от солнца разноцветными ситцевыми занавесочками, а сам устремился на кухню.

— У нас гости, — прошептал он матери на ухо. — Накорми их обедом, слышишь? Белую скатерть постели. И ставь всё, что есть, поняла?

— Как же это, Липа, — ответила старуха в голос, ничуть не опасаясь, что ее могут услышать. — Сейчас Ирина с девочками вернутся с пляжа, а у меня лишнего ничего нет.

— Я сказал, — перебил ее Поскребкин тем же театральным шепотом, — всё, что есть, подавай на стол! Это... — высокопоставленную фамилию он выдохнул прямо в ухо матери.

— Да ну?... Здесь? У нас? Как же это?..

Поскребкин не ответил — только поднял и опустил брови. Затем он юркнул в свой кабинет, скинул валенки — валенки наделись на время творчества, от ревматизма, — сунул ноги в черные полуботинки и выскочил на улицу. Замок нужно было открыть во что бы то ни стало. Елисей Аполлинарьевич вспомнил, что видел недавно Макара, и решил разыскать его. Дома того не оказалось. Елисей Аполлинарьевич повернул на свиноферму — узнать у жены Макара Марьи, где может находиться ее супруг. Марье про это ничего не было известно. Тут Елисея Аполлинарьевича осенило — он вспомнил про существование деда Григория. Григорий признал, что видел давеча Макара, но куда он теперь подевался, не ведает.

Тем временем, пока Елисей Аполлинарьевич разыскивал Макара, Макар бродил по селу в поисках Ивана. Бутыль в кармане требовала, чтобы в их давешний разговор была внесена окончательная ясность. Но Ивана тоже нигде не оказалось. Он искал деньги на покупку собаки. Все трое искали, и ни один не мог найти. Между тем Константин Павлович с Екатериной Денисовной уже доедали жаркое на террасе поскребкинского дома. Отчаявшись найти Макара, Елисей Аполлинарьевич вернулся к злополучному замку и снова попытался осилить его.

Трофим в это время возвращался домой с работы. Увидев Елисея Аполлинарьевича, приплясывающего на крыльце чужого дома, он слегка замедлил шаги, поглядел на писательские мучения и пошел себе дальше. Поскребкин в изнеможении выпустил замок из рук, распрямылся, взглянул тоскливо на дорогу и увидел спину удалявшегося Трофима.

— Трофим! — позвал Елисей Аполлинарьевич. — А, Трофим!

Трофим остановился.

— Попробуй, а? — попросил Старцев измученным голосом. — Может, ты сумеешь...

Трофим подошел, поглядел на замок, нажал на ключ, крутанул — замок хрястнул раз и другой и выпустил из себя дужку.

Елисей Аполлинарьевич радостно вздохнул и с восхищением поглядел на Трофима.

— Что значит с умением взяться! Дело мастера боится! А я сколько времени бился. Ну, спасибо тебе! Тут, понимаешь, Екатерина Денисовна с мужем приехала и войти не могут, — объяснил Елисей Аполлинарьевич. — Спасибо, выручил! — сказал он еще раз и поспешил к своему дому.

Екатерина Денисовна страшно обрадовалась, услышав, что они могут, наконец, войти к себе, и от души поблагодарила Поскребкина. Константин Павлович тоже произнес несколько слов и последовал за своей дамой.

Екатерина Денисовна вытащила замок из ушек. Дверь открыли. Из комнат пахнуло сыростью и затхлостью.

— Желаю приятно отдохнуть, — сказал Елисей Аполлинарьевич и деликатно откланялся.

### III

Михаил сидел в избе у бабушки и поедал молоденькую картошку с привезенными из Москвы помидорчиками — мать положила два килограмма свекрови в гостинец. Антонина Прокофьевна попробовала помидорчика и удивилась:

— Смотри-ка, какие спеленькие. У наших-то ни у кого об эту пору таких не бывает.

— Это, бабушка, болгарские, — объяснил Михаил.

— А... смотри ты... болгарские... — она откусила

еще. — А все же против наших вкусу в них нету! Совсем и на помидор не похоже. Наши-то как сахар! Вот как поспеют, я уж попрошу у кого-нибудь, угощу тебя. У Танюшки попрошу, она даст. Прежде, Мишенька, я и сама выращивала — и редисочку, бывало, посажу, и огурчиков, и помидорчиков... А нынче всё — не вижу белого света. Ничего не вижу, Мишенька... И тебя-то, голубчика моего, не признала. А ты не обижайся... Кушай картошку-то. Нету у меня ничего другого, беда прямо...

— Что ты, бабушка, — сказал Михаил.

— Столько лет не виделась, а мне тебя и встретить-то нечем! — старушка стала вытирать глаза под очками концом платка.

— Перестань, бабушка! Что за глупости! На вот держи лучше. — Михаил открыл чемодан, вытащил ситцевый отрез и темный штапельный платок. — Это тебе.

— Куда мне! Молоденькая я, что ли, наряжаться! — сказала старуха, однако с удовольствием принялась ощупывать подарки. — За платок спасибо. В церковь буду ходить. А материал заberi. Заberi. Пускай мать себе сошьет. А мне зачем? Не надо мне. — Она махнула рукой и улыбнулась, словно знала какой-то секрет, да не сказала. Потом вдруг снова забеспокоилась, что внук останется голодный: — Может, еще поешь, а, Мишенька? Ты маленький картошку любил. Я, бывало, наварю полную миску... Жалко, не знала я, что ты едешь, а то бы велела Танюшке написать, чтобы тушенки привез. Хочется что-то мясного, уж и не знаю, к чему бы это. У нас-то теперь нету мяса. До осени никто не режет. А в Москве, небось, каждый день в магазине дают. В Москве, говорят, все есть. Лишь бы денежки водились...

Так они посидели, поговорили, и Михаил решил сходить на Оку искупаться.

— Иди, милый, иди, — согласилась Антонина Прокофьевна.

Однако не успел Михаил дойти до поворота, как услышал истошный женский крик. Он невольно остановился. Крик доносился из ближайшей избы. Михаил стоял и не знал, что делать. С одной стороны, ему вовсе не хотелось вмешиваться в чью-то чужую жизнь, но с другой — очевидно, следовало прийти женщине на помощь. Пока что Михаил на всякий случай решил придвинуться поближе к распахнутому окну.

— Не трожь, — кричала женщина. — Паразит! Бессовестный! У кого отымаешь!

Вслед за этим раздался грозный мужской голос: — Замолчи, стерва! Замолчи, слышишь, убью!

Голос принадлежал Ивану.

Он походил по селу в поисках денег, спросил у одного соседа, у другого, получил оба раза отказ и вдруг разозлился. С какой стати он будет унижаться перед людьми, когда дома свои лежат? Тем более, что никто не дает...

Вернувшись с работы, Анна застала все в доме перевернутым вверх дном. Иван стоял возле сундука, а вокруг валялись разбросанные вещи. Анна поняла, что денег он не нашел. Деньги у нее были запрятаны надежно. Все-таки ей стало обидно, что он учинил такой беспорядок. Убирать, небось, не станет!

— Мучитель! — закричала Анна. — Девчонке в школу идти не в чем, а он последнее тянет!

Тут Иван догадался, что напрасно перерыл комод, буфет, гардероб и сундук, напрасно заглядывал под матрац, за икону и под телевизор. Деньги у Анны в сумке. Иначе зачем бы она стала таскать ее с собой? Ясное дело!

— А ну, пусти, — сказал Иван, протягивая руку.

— Не трожь, — взвизгнула Анна. — Паразит! Бессовестный! У кого отымаешь!

— Замолчи, стерва! — сказал Иван. — Замолчи, слышишь, убью!

Хотя бить Анну он, конечно, не собирался. Но и отступить не думал. Иначе Анна сама первая стала бы над ним смеяться. Иван попытался по-хорошему отнять у жены сумку, но Анна, отстаивая свою независимость, вцепилась и не давала.

— Не трожь, — шипела она, дергая сумку. Хотя могла бы и уступить — денег в сумке не было ни копейки. — Отдай, не трожь, кому говорю! Да пусти ты!

Иван не пускал.

— Что, как Колька Балашкин — пятнадцать суток захотел? — припугнула Анна. — Получишь!

Услышав угрозу, Иван не выдержал, одной рукой рванул сумку, а другой толкнул Анну в грудь так, что она налетела на телевизор. Анна в страхе оглянулась — не разбила ли трубку — и завопила уже всерьез полным голосом:

— Помогите! Убивают!

Михаил, стоявший под окном, не раздумывая больше ни секунды, перемахнул через забор палисадничка, ухватился за наличник, подтянулся и сел на подоконник между двумя цветущими геранями.

Увидев в своем окне постороннего, Анна замолчала. Крик замер у нее в груди, только рот остался открытым. Иван оглянулся и тоже увидел чужого темно-волосого парня, одетого по-городскому.

— Что у вас тут происходит? — спросил парень.

Никто ему не ответил. Анна вдруг узнала в нем приезжего, которому она давеча объясняла, как пройти к Прокофьевне, и застеснялась — закрыла рот и отвернулась.

— Мне показалось, вы звали на помощь... — продолжал Михаил.

Анна взглянула на Ивана.

— Ничего я не звала, — сказала она. — Вы идите себе.

Михаил посидел еще немного на подоконнике, потом сказал:

— Ну, смотрите. Дело ваше...

Спрыгнув в палисадник, он все же не ушел сразу, а постоял минуту под окном. В избе было тихо. Михаил выбрался на дорогу.

— Лазят тут, — сказала Анна. — Понаехали на нашу голову. Небось, все цветы измял...

Иван помолчал, швырнул Анне под ноги ее сумку и направился к двери.

— Иван! — позвала Анна. — Ваня! Ты погоди...

— Чего еще?

— Бери уж, — сказала Анна. — Девчонке на форму собирала...

Присев на корточки, она рванула нижний ящик комода так, что попадали расставленные сверху на салфетке открытки и фотографии. Покачав ящик из стороны в сторону, Анна выдернула его вовсе, швырнула на пол, а сама запустила руку куда-то в глубину открывшейся пропасти. Прижавшись щекой к острой медной ручке, Анна долго шарила, потом повернулась другим боком, потом совсем легла животом на пол и попыталась засунуть в щель голову.

Иван стоял не двигаясь и не сводил с жены глаз. Наконец, Анна приподнялась на колени, отряхнула платье и протянула Ивану заветную десятку.

— Дуреха ты, Анька, — сказал Иван, — пожар начнется, так и не вытащишь. Сгоришь тут вместе с капиталами своими.

— Ну и сгорю! — ответила Анна вызывающе. — Кому жалеть-то? Ты, небось, рад будешь!

Иван не стал с ней спорить. Включил телевизор и сел смотреть футбол.

Анна подоила козу, сварила кашу. Маринка вернулась от подружек, поужинала и легла спать. Анна усеелась рядом с Иваном. Как играли, ей нравилось. Она то и дело толкала Ивана локтем в бок и говорила:

— Гляди, гляди!

Однако в середине второго тайма голова у нее отяжелела и опустилась на грудь. Анна стала тихонько похрапывать. Иван поглядел в ее сторону, сам зевнул, но продолжал смотреть. Подремав на стуле минут двадцать, Анна вдруг встрепенулась, подняла мутный взгляд на экран, потом посмотрела на Ивана и поплелась за перегородку, на кровать.

#### IV

В этот самый час Константин Павлович и Екатерина Денисовна почти одновременно проснулись в своей постели, посмотрели друг на друга и подумали, что неплохо бы сейчас перекусить чего-нибудь. Екатерина Денисовна поднялась и босая, в одной комбинации, принялась раскладывать на столе остатки дорожных припасов: недоеденную курицу, круг сервилада, баночку сардин, хлеб, яйца, помидоры, кусок сала и соль.

— Сардины, я думаю, не стоит сейчас открывать, — сказала она. — Оставим на завтрак. Как ты считаешь, Костик?

— Тебе виднее, — ответил Константин Павлович. — Делай как хочешь. — Помолчав, он добавил: — Мне все равно. Можно оставить.

Они уселись за стол и принялись есть. Екатерина Денисовна руками разрывала курицу и лучшие куски отдавала Константину Павловичу.

Возле дома послышался шум мотора.

— Олег! — воскликнула Екатерина Денисовна и, накинув халатик, выбежала на крыльцо.

Это и вправду оказался Олег, личный шофер Константина Павловича. Он завел машину во двор, вылез, покачал головой и произнес:

— Дорога...

«Волга», в самом деле, выглядела не лучшим

образом. Олег порывался сразу мыть ее и приводить в порядок, но Екатерина Денисовна велела ему отправляться в дом.

— Нечего, нечего, — сказала она. — Завтра успеется. Иди поешь и ложись спать.

Из машины извлекли ящик консервов и ящик «боржоми».

Константин Павлович решил немного прогуляться. Он направился к рошце, начинавшейся прямо за садом, и зашагал вдоль опушки. Спустя некоторое время в эту же самую рощу прибыл для вечерней прогулки литератор Старцев.

— Чудесный вечер, не правда ли? — сказал Елисей Аполлинарьевич.

— Да, — согласился Константин Павлович. — Действительно... А что, — спросил он в свою очередь. — Тут, наверное, грибочки попадаются?

— Тут-то нет... Это ведь и не лес, собственно... Так только, если сыроежки... А вот за рекой — там грибов прѳпасть. И маслята, и белые! В прошлом году жена с девочками ходила два раза — и два ведра засолили. Представьте себе, всю зиму свои грибы ели!

— Неужели два ведра? — переспросил Константин Павлович.

— Это не считая того, что жарили!

— Подумать только, — протянул Константин Павлович. — Два ведра... И еще жарили... Хм... Надо будет как-нибудь выбраться... А далеко до леса?

— Далековато, конечно, — извиняющимся тоном признался Елисей Аполлинарьевич, — километров десять будет... Зато дорога отличная! там военная часть стоит, поэтому дорога прекрасная.

— Вот как!.. — Константин Павлович помолчал, прикидывая что-то про себя. — Значит, машина пройдет?

— Безусловно! Безусловно пройдет.

— А что, если завтра с утра и отправиться?

— Я, — Елисей Аполлинарьевич поперхнулся. — Я с удовольствием! А как Екатерина Денисовна? Может, она устала с дороги?

— Да ну! Чепуха! — сказал Константин Павлович.

## V

Договорились выехать в пять. Старцев ровно к этому времени был готов и сел на терраске дожидаться. Константин Павлович с Екатериной Денисовной проснулись только в начале седьмого, пока позавтракали да собрались, оказалось семь. Позвали Елисея Аполлинарьевича, набили багажник корзинами, в ноги положили два пустых ведра. В половине восьмого выехали. К берегу на машине можно было спуститься только по дну оврага. Обогнули село, проехали мимо церкви и остановились у реки в ожидании парома. Дед Григорий отчего-то не спешил покидать противоположный берег.

— Благодать-то какая! — сказал Елисей Аполлинарьевич и кивнул на луг, по которому там и сям были разбросаны копны и двигались маленькие фигурки косарей.

Паром, наконец, сдвинулся с места и медленно-медленно пошел через реку.

— Сенокосная пора, — продолжал Старцев. — Дивное время. И сухо. Замечательно!

— Для грибочков, наверно, небольшой дождик не помешал бы, — заметил Константин Павлович.

— В лесу сыро, — успокоил Елисей Аполлинарьевич. — Тут такой бор — в любую жару прохладно. Ельник. Самые места для белых.

Паром стукнулся о бревно. Он весь оказался завален невесть чем, будто на нем не убирали — не чистили — года два. В одной стороне лежала груда

досок — уже почерневших и поломанных. По углам были разбросаны обрывки стальных тросов, веревочных канатов, каких-то рогож. Ключья сена и конские яблоки занимали остальное пространство. Олег завел мотор и въехал на паром. Следом, выбирая место, куда ступить, чтобы не вляпаться в какую-нибудь гадость, перебрались Константин Павлович, Екатерина Денисовна и Старцев. Из будки выполз паромщик — тощий махонький старичок в ватной телогрейке, доходившей ему до колен, в стоптанных порыжелых кирзовых сапогах и матерчатой ушанке. Не обращая никакого внимания на пеших пассажиров, дед подошел к машине и постучал в окно. Олег приоткрыл дверцу, глянул куда-то назад и спросил:

— Ты чего, папаша?

— Платить, стало быть, надо, — сказал Григорий.

— Ах да, действительно, за перевоз, — спохватился Старцев и полез в карман.

— Ну что вы, мы сами, — остановила его Екатерина Денисовна.

Она раскрыла сумочку, вытащила оттуда кошелек, добыла из него пятнадцать копеек, потом еще двадцать и положила старику на ладонь.

Тот взглянул на деньги, потом на Екатерину Денисовну.

— Чего это ты мне даешь? Ты давай плати!

— Во-первых, не «тыкайте», — вмешался Старцев.

— Сколько же вы хотите? — спросила Екатерина Денисовна.

— Вас, стало быть, трое — пятнадцать копеек, да машина два пятьдесят — и считай. Два рубля выходит да шестьдесят пять копеек.

— Два рубля шестьдесят пять копеек? — переспросил Константин Павлович.

Григорий не ответил.

— Два рубля шестьдесят пять копеек за то, чтобы попасть на тот берег? — повторил Константин Павлович и опять не получил ответа. — Это что же за цена такая? Вы понимаете, что говорите?

— Позвольте, — перебила Екатерина Денисовна. — Это вы хотите получить в оба конца сразу? Или в один?

— Зачем в оба? — удивился дед. — Вестимо, в один. Может, вы обратно и не поедете. Ежели вам, к примеру, в Тарасовку...

— Какую Тарасовку! — не выдержал Константин Павлович. — Мы в лес едем, за грибами. Понимаете?

— Это как вам желается.

— Значит, вы хотите сейчас получить с нас два рубля шестьдесят пять копеек, — подытожила Екатерина Денисовна, — и обратно столько же?

— Ежели поедете, то столько же. Что от этого берега до того, что от того до этого — цена одна.

— «Ежели поедете!» — передразнила Екатерина Денисовна. — Что же мы, по-вашему, с волками в лесу останемся?

— Как желается... — Дед стащил с головы шапку и принялся начищать ее рукавом. Почистив, оглядел, дунул. Пригладил жидкие седые волосенки и снова надел шапку.

— Хорошо, — сказала Екатерина Денисовна. — Вот вам рубль и давайте поедем наконец.

— Мне, дочка, ни рубля твоего не надо, ни кроме рубля, — Григорий степенно отстранил руку с бумажкой. — Не себе беру. Кабы я себе брал...

— Кто же, интересно знать, установил такую цену? — спросил Константин Павлович.

— Кто же, кроме колхоза.

— А раньше ведь пятьдесят копеек с машины брали, — вспомнил вдруг Елисей Аполлинарьевич.

— То раньше. А теперь два пятьдесят. Ежели не поедете — съезжайте. Нечего было понапрасну

вызывать. Мне вон людей везти пора, им, небось, дела делать надо.

Косари, действительно, успели покинуть свои делянки и сгрудились у причала.

— Форменное самоуправство! — сказала Екатерина Денисовна.

Поскребкин попытался отвести Григория в сторону — договориться с ним по-хорошему.

— Ты послушай, — зашептал он торопливо. — Возьми половину и никакой квитанции не надо. Может, ты думаешь, мы тебя как-нибудь это... подведем... Ты не бойся.

Григорий повернулся и пошел к будке. Елисей Аполлинарьевич ухватил его за рукав.

— Все равно ведь на тот берег сейчас едешь! Что ж ты... Нельзя ведь так с людьми!

— Почему нельзя? — сказал Григорий, высвобождая рукав. — Можно.

— Ну, хорошо, ладно. Я тебе вечером занесу. Ты же меня знаешь — я тут живу, — Старцев кивнул на обрыв.

Дед проворчал что-то себе под нос.

Елисей Аполлинарьевич решил, что его все-таки удастся уломать.

— А то, понимаешь, неудобно получается. Гости из Москвы, ответственный товарищ...

Григорий глянул искоса на Константина Павловича и сказал:

— Ответственный, говоришь? Ежели бы ответственный был, председатель уж с рук бы его не спускал — враз бы сам и на рыбалку сvez, и за грибами.

— Да на что ему ваш председатель! Он просто так, в гости, понимаешь, отдохнуть приехал, — попытался растолковать Елисей Аполлинарьевич.

— А ежели просто так, так пушай платит. Эдак никто платить не станет. Нынче все умные. — С эти-

ми словами Григорий удалился в будку и захлопнул за собой дверь.

— Ну что ты будешь делать, — сказал Елисей Аполлинарьевич, возвращаясь к машине. — Вот ведь скотина какая! Объясняю ему, что у нас при себе нету...

— Я принципиально не дам, — заявил Константин Павлович. — С какой стати! Грабеж среди бела дня. Я это выясню. Кто это допускает?! Неслыханно! Нигде этого нет! Давай, Олег, съезжай...

Олег, во время всего разговора сосредоточенно разглядывавший противоположный берег, включил задний ход.

— А зачем, собственно, нам паром? — спросил Константин Павлович. — Почему обязательно на пароме? Есть же, наверно, где-нибудь мост. Не может быть, чтобы не было моста!

— Откуда... — упавшим голосом протянул Елисей Аполлинарьевич. — Вон, электростанция — в тринадцатом году построена и никак не могут добиться денег на ремонт. А плотина? Видите там желтый песок, пляж — это в позапрошлом году насыпали, после того, как во время ледохода сорвало устои. А пока не сорвало... — вдруг Елисей Аполлинарьевич осекся, покраснел и закашлялся.

— Значит, поехали обратно! — Константин Павлович решительно уселся рядом с Олегом. — Всё! Совершили приятную прогулку, возвращаемся обратно с грибочками.

Елисей Аполлинарьевич горестно вздохнул, бросил тоскливый взгляд на реку и тоже полез в машину.

«Волга» развернулась и поползла в гору. Пустое ведро качнулось и ударило Екатерину Денисовну по ноге. Она ухватилась за ушибленное место рукой и едва не расплакалась.

## VI

Макар проснулся и попытался вспомнить, как он очутился дома. Неужто сам пришел? Или Маруська привела? Раздумывая на эту тему, он поднялся с кровати и огляделся. Бутылки не видать — вот что главное. Макар прошел на кухню, заглянул в шкафчик, на полку — нету нигде. Пропала! Марушкина работа. Запрятала. Макар точно помнил, что в бутылке оставалось. Потерять не мог — ползком бы полз, а бутылку не бросил. Остается на Маруську думать. Не соображает, что с утра опохмелиться необходимо. Да если он сейчас не опохмелится — весь день не человек! С досады Макар выпил воды и поплелся обратно в комнату. Хотел было начать розыск, заглянул под кровать, но вдруг шею ему точно канатом перехватило. В голове все слиплось и поползло. Макар потрогал голову руками и опустил на пол. В голове малопомалу остановилось, но чуть только Макар хотел приподняться, опять набухло и загудело. Макар в страхе замер. С потолка на стены полезли красные и желтые полосы, потом слились в одно бурое пятно. Макар застонал и зажмурился. Но даже и тогда пятно не исчезло, а наоборот вытянулось и превратилось в окровавленного отца Захария. Макар быстрее раскрыл глаза, отец Захарий расплылся кругами.

— Маруся! А, Маруся! — позвал Макар жалобно, но Марья находилась в это время на свиноферме и ничего не слышала.

Тут Макар все понял. Догадался. Любкина работа. Мстит она ему, не иначе. Что он к Маруське вернулся. Колдует, стерва. Недаром, выходит, он иголку в пиджаке на той неделе нашел. Откуда, спрашивается, ей там взяться! Надо было сразу ее через левое плечо бросить и не глядеть. Тогда бы ворожба не подействовала. А теперь всё — поздно. Макар всхлипнул и повалился на бок. Пропал. Голова раскалывалась,

тело будто собаками рвали, Макар чувствовал, что вот-вот помрет. Помирать было страшно.

— Матерь Божья, — пролепетал Макар и попытался повернуть тяжелую, точно жернов, голову. Хоть бы на икону взглянуть! — Помоги... — хотел перекреститься, рука не подымалась.

В избе разом потемнело и пахнуло жаром.

## VII

Полуденное солнце обливало реку, обрыв, луг. С берега долетал запах свежего сена. Шумела вода под плотиной. Михаил выплыл на середину реки, перевернулся на спину и застыл, раскинув руки. Посмотрел в далекое бледно-голубое небо... Закрыв глаза... Как хорошо! Жаль, что Дины с ним нет...

Михаил не торопясь вернулся к берегу и лег на меленький, почти белый песок.

Какой-то катер зашел в шлюз. Из воды выдвинулись ворота и сошлись в сплошную стену.

На пляж явилась стайка ребят лет по пять-шесть. Они тотчас кинулись в воду бултыхаться, ныряли, хватали друг друга за ноги, за трусы, за светлые, как песок на пляже, волосенки и беспрерывно бойко ругались самыми непристойными словами.

Михаил встал, оделся, перекинул полотенце через плечо и поднялся на плотину. Пешеходный мостик, шириной в три досточки, бежал к противоположному берегу. Справа вода стояла высокая, спокойная — нагнешься и достанешь ее рукой, слева в далекую пенную глубину падал ревущий водяной вал. Мостик был тот же самый, что и много лет назад, доски лежали неплотно, а некоторые и вовсе сгнили и проломились. Михаил легко перепрыгивал через дыры. Вот если бы подпрыгнуть и больше не опуститься... остаться в воздухе и поплыть над плотиной, над рекой, над обрывом...

Ему повстречалась женщина с велосипедом и, уступая ей дорогу, Михаил нарочно встал на самый край доски да еще глянул вниз, туда, где пенились, разбиваясь, струи. И как в детстве, когда деревенские мальчишки, балуясь, нарочно подталкивали его к краю, у него заломило в груди ихватило дух. Улыбнувшись, он зашагал дальше, обогнул электростанцию, прошел над шлюзом и в одну минуту, будто его тело и в самом деле ничего не весило, взбежал по тропинке наверх.

Дома бабушка ждала его за накрытым столом.

— Никак ты, Мишенька? — спросила она, подымая к нему лицо. — Давай уж, милый, поешь, что Бог послал.

— А ты? — спросил Михаил.

— И я! И я с тобой.

Поели пустых щей, картошки.

— Не наелся ты, — вздохнула Антонина Прокофьевна. — Голодный... — И вдруг придумала: — Сбегаю-ка я к Танюшке, может, она молочка даст. Ты ведь маленький любил молоко.

Она поднялась и, захватив пузатую стеклянную банку, двинулась в сени. Михаил встал и пошел за ней следом, помог спуститься с крыльца.

— Дай я понесу, — он взялся за край банки и осторожно разжал бабушкины пальцы.

— Что ты, Мишенька, будто бы не донесу!

Придерживаясь забора, Антонина Прокофьевна добралась до соседней избы и, остановившись перед крыльцом, позвала:

— Танюшка!

Почти тотчас в дверях появилась девочка лет десяти с двумя тощенькими косичками, заплетенными до самых кончиков и перевязанными трикотажными тряпочками.

— Чего ты, Прокофьевна? — спросила девочка.

— Ты бы, Танюшка, молочка мне дала. Мишень-

ка вот ко мне приехал. Внук, Михаил. Не забыл старуху, приехал.

Таня оглядела Михаила и сказала:

— Кабы оно было, молоко-то! Нынче с утра двух литров не надоила. Уж мы на Степана грешим — гоняет он скотину попусту с места на место, а то и вовсе в овраг загонит, а сам спать заляжет. Чего там в овраге травы-то! Только для козы. А может, и не от Степана зависит — вон у Евдохиных корова в стадо не ходит, а тоже ничего нынче не дала. Нету травы, посохла. Вон иди доить — не знаю, чего и брать — ведро возьмешь — срам один, на доньшке литр бультыхается. Уж мы ей, как приходит, сена даем. Или он их не поит, Степан-то?.. Прямо не знаю... Оставь банку, — сказала она наконец. — Будет чего, так налью.

— Конечно, если будет, — согласилась Антонина Прокофьевна.

Михаил отдал девочке банку, и они с бабушкой вернулись к себе. Старуха уселась на лавочку под окошком, на самом припеке — погреться. Михаил от нечего делать побрел на огород. Всё тут посохло, одни сорняки еще держались. Между ними, к своему удивлению, Михаил отыскал огурцы. Правда, не так уж много, да и те большей частью перезрели — видно, бабка их не замечала. Михаил принялся дергать траву, прополос одну грядку, потом другую.

Тут на дорожке показалась Антонина Прокофьевна.

— Мишенька, — позвала она. — Никак ты здесь?

— Здесь, бабушка, — откликнулся Михаил.

— Чего ты, милый, тут... Ты иди отдыхай!

— У тебя, оказывается, огурцы есть.

— А... — удивилась Антонина Прокофьевна. — А я и не нашла. Думала, уж все. Посохли, небось? Это Танюшка мне посадила. Чего, говорит, у тебя, Прокофьевна, огород пустой стоит, я, говорит, тебе огур-

чиков посажу, всё равно рассада у нас осталась. Вот и посадила. Да ведь их поливать надо. Где уж мне... Сперва-то дожди были, а нынче уж третью неделю ни капли. Да оставь ты их, Мишенька, всё равно они пропащие. Я на тот год отдам кому огород. А то грех — земля попусту стоит.

Михаил поглядел на пожелтевшие огурцы, потом на свою бабушку, согнутую, маленькую, слепую... Изба тоже не лучше — покосилась, почернела, бревна прогнили... Дома почему-то считается, что с бабушкой всё в порядке. Отец за столько лет ни разу не удосужился приехать, посмотреть, как она живет. Странно... Михаил очистил руки от земли, перешагнул через грядку.

— Я сейчас вернусь.

— Иди, милый, иди.

Он вышел на улицу и направился в сельсовет. Тут он отыскал председателя и спросил, может ли колхоз поправить Антонине Прокофьевне избу, что для этого требуется. Председатель помолчал, поглядел на Михаила.

— Мы можем заплатить, — добавил Михаил.

— Подумаем, — ответил председатель. — Завтра зайди.

Однако когда дверь за Михаилом закрылась, он сразу, не дожидаясь завтрашнего дня, высказал бухгалтеру свое мнение по этому поводу.

— Ишь, забеспокоились наследнички. Хотят дом поддержать. Чуют, что старой-то недолго осталось. Не дам материала ни грамма, пусть не надеются. Сколько лет носа не казали, а теперь явились — дом починять!

— А чего, — вставил слово бухгалтер. — Нынче многие сюда отдыхать стремятся. Тут один профессор, сказывают, приезжал, говорил, климат у нас самый полезный, прямо как на курорте каком. Особенно для этих, для сердечников. И то сказать — старухи-то

у нас по сколько живут — все по восемьдесят, да по девяносто годов.

Тут у председателя на столе зазвонил телефон и оборвал рассуждения бухгалтера.

## VIII

Неизвестно, сколько времени Макар пролежал на полу возле кровати, но в конце концов боль ослабла и отпустила. Макар открыл глаза и увидел в дверях свою Марусю.

Дети уже успели предупредить Марью, что отец и нынче валяется пьяный не хуже, чем вчера. Они весь день не смели из-за этого войти в комнату, раз только тихонько похлебали на кухне холодных щей и тут же выскочили, как мышки, не замеченные Макаром.

— Опять нажрался, — сказала Марья мрачно и, не устаивая более мужа своим вниманием, ушла за перегородку.

— Маруся, — позвал Макар жалобно.

Жена гремела ведром и не выходила.

— Машенька, — сказал Макар. — Марусенька... Помираю...

Марья вышла, еще поглядела на распластанного возле кровати Макара.

— Прости, Машенька, — Макар шмыгнул носом. — Не слушался я тебя, обижал... А нынче помираю вот...

Марья слегка напугалась.

— Так уж и помрешь... Не помрешь... Меньше вина жрать надо.

— Помру, Маруся, — настаивал Макар. — Видение мне было.

Видение Марью заинтересовало.

— Еще чего скажи, — промолвила она, желая вызвать мужа на дальнейший разговор.

Макар собрался с силами и слово за словом рассказал все, как было, утаив только свои подозрения насчет Любки. Слушая его, Марья расплакалась и принялась вытирать слезы концом грязного передника.

— Не пил бы ты, Макарушка, — сказала она.

— Не пил, — буркнул Макар обиженно. — Чего уж... Все одно помираю.

— Вдруг не помрешь еще. Ты зарок дай: не помрешь, так больше не пей. А?

Макар по доброте своей был готов на всё. Тут же дал слово, если только выживет, капли в рот не брать, а взяться за ум.

— Теперь всё, конец, — заявил он уже совсем бодро. — Я теперь ученый. Не тот теперь Макар! Заживем, Марусенька. Не хуже людей заживем!

Обрадованная Марья втащила мужа на кровать и сама села с краешку.

— Может, фельдшера позвать, а? — предложила она.

Услышав про фельдшера, Макар вспомнил, как его оскорбил Иван, и нахмурился. К тому же состояние его и без фельдшера с минуту на минуту становилось легче.

— Ну его к бесу — фельдшера! Разве он чего понимает!

Тогда Марья решила отпаивать мужа козьим молоком. Макар терпеть не мог никакого молока, особенно козьего, но все же выпил.

Марья принялась мечтать вслух, как они наладятся, когда Макар не станет пить. Пойдет с артелью на заработки по колхозам. Да и тут, на селе, кому чего помочь... Купят плиту с газом, как у Трофима. А после велосипед... Одеяло шерстяное... А там, глядишь, и мотоцикл... Вон Нинка Евдохина вчера зеркало из Рязани притащила. Трельяж...

Наконец Марья опомнилась, что надо идти кор-

мить поросенка. Только спустилась во двор, как услышала радостный визг Шарика и шаги на крыльце. Она высунулась и увидела в дверях Ивана. Иван держал под мышкой что-то завернутое в пиджак.

— Куда! — Марья весьма решительно заступила соседу дорогу. — Спит он, болен.

— Ничего, после поспит, — весело ответил Иван и отодвинул Марью с прохода. — Дело есть.

Дела у него к Макару никакого не было. Да и какие с Макаром дела! Просто ему не терпелось похвастаться щенком, который был завернут в пиджаке.

— Знаю я ваши дела! — сказала Марья со злобой. — Через эти дела и заболел, через дружков-товарищей хороших.

Услышав голос Ивана, Макар обрадовался, приподнялся на постели и закричал:

— Иван! Это ты? Заходи, давай. Я тут лежу!

— Видал? — спросил Иван, разворачивая щенка.

— Ага. А я ведь нынче чуть не помер! — сообщил Макар торжествующе. — Вот чего!

— Ты гляди, какое брюхо, — демонстрировал Иван. — Видал, какая шерсть?

— Видал, видал, — отмахнулся Макар. — Я так думаю, это Любка, стерва, колдует.

— Чего ей колдовать? — удивился Иван.

— Как чего? Что я к Маруське вернулся.

— Да ты от нее никогда не уходил.

— Ну... А все же с Любкой-то у нас любовь была. А после я ее бросил.

— Полно брехать-то! Бросил! Она сама в Рязань уехала. Ее ведь под суд хотели за растрату отдать, забыл, что ли? Уж четыре года как не живет тут.

— Кроме нее некому, — настаивал Макар. — Как ни верти, а без колдовства не обошлось. Стоял я, все нормально, и вдруг чувствую — душит! А как перекрестился — отпустило. Вот. После опять...

— Ладно, пойду я, — сказал Иван, заворачивая снова щенка в пиджак. — Счастливо оставаться.

— Как хочешь думай — ее работа! — выкрикнул Макар ему вслед.

Иван направился к своему дому, навстречу ему выскочила Маринка и, увидев собачку, завизжала:

— Ой, папка! Какая хорошенькая!

Иван довольно улыбнулся. Из-за перегородки вышла Анна. То ли в самом деле щенок ей так не пришелся, то ли просто она привыкла противоречить Ивану, то ли заговорила в ней материнская ревность, кто его знает, только вдруг ни с того, ни с сего разобрала ее злость и на мужа, и на дочь, и на собачонку.

— Ладно, давай убирай его отсюда, — сказала Анна.

— Куда это я его уберу? — удивился Иван.

Щенок между тем, получив свободу, принялся бегать и все обнюхивать. Маринка ползала за ним на корточках и весело смеялась. Будто матери назло.

— Куда хочешь девай. Вон в огороде привяжи.

— Ты прежде думай, а после болтай, — возмутился Иван. — Это тебе не дворовый пес, чтобы привязывать. Охотничья собака, дорогая. К тому же дитё еще. Пусть тут будет.

— Прямо уж, чтобы гадил, — не отступала Анна, но Иван больше не стал ее слушать и, оставив щенка, вышел.

Долго ждать не пришлось. Щенок вскоре исполнил то, чего следовало от него ожидать. Анна молча потерла, но с этой минуты возненавидела несчастную собачонку смертной ненавистью.

## IX

Елисей Аполлинарьевич весь день провел у окна, поджидая, не покажутся ли Константин Павлович с Екатериной Денисовной. Время от времени он даже беспокойно выглядывал наружу, но в доме напротив не происходило никаких перемен — пустое крыльцо, тусклое оконце в сени, за которым ничего невозможно разглядеть, дверь плотно прикрыта. Никакого движения.

Наконец вышел Константин Павлович. Елисей Аполлинарьевич тут же высунулся и поприветствовал, но в ответ услышал что-то неразборчиво-хмурое. Константин Павлович спустился с крыльца и направился в глубину сада. Елисей Аполлинарьевич почему-то не уследил, когда он вернулся.

Поскребкин принялся подыскивать приличный предлог наведаться к соседям. Справиться о самочувствии? Предложить прогуляться? После конфуза на плоту вряд ли согласятся... Можно было бы расписать «пулечку», но неизвестно, играют ли они вообще... Послать жену, чтобы узнала, не нуждаются ли в какой-нибудь хозяйственной помощи? Неплохая мысль... Но не будет ли это выглядеть слишком навязчиво?..

Так ни на чем и не остановившись, Елисей Аполлинарьевич продолжал поглядывать в окно. В комнату вошла старшая дочь.

— Это ты, Екатерина? — спросил Елисей Аполлинарьевич.

— Да, папа. — Хотя Катеньке уже исполнилось шестнадцать, по голосу ей нельзя было дать больше восьми. — Ты не работаешь?

— Да нет... Думаю...

— Думаешь, как втереться в дружбу к этому типу? — спросила Катенька своим младенческим голоском.

— Ну что ты, Катя, говоришь... «Втереться в дружбу»... Прежде всего, это неграмотно...

— Чем же ты считаешь его увлечь? Надеюсь, ты не собираешься читать ему главы из своего нового романа?

— При чем тут роман?.. — Елисей Аполлинарьевич принялся нервно барабанить пальцами по клавишам пишущей машинки.

— Я пойду погуляю, — сказала Катя и удалилась.

«Утро вечера мудреней, — решил Елисей Аполлинарьевич. — В конце концов, не станут они все время сидеть взаперти, как-никак отдохнуть приехали. Скорей всего, пойдут с утра на пляж. Там-то мы их и поймем...» Утешившись этим рассуждением, Елисей Аполлинарьевич поднялся, потер затекшие колени, сделал два приседания и пошел ужинать.

## Х

Вернувшись из сельсовета, Михаил отправился обратно на огород и оставался там до позднего вечера. Прополос все грядки, затем стал поливать. Как ни упрашивала его Антонина Прокофьевна бросить это занятие — отдыхать ведь приехал, а не работать, он упрямо раз двадцать ходил к колодцу за водой. Трофим тоже вышел поливать, но у Трофима водопровод — надел шланг, включил мотор и поливай, сколько влезет. Поглядывая через плетень, Михаил решил, что бабушке тоже непременно надо устроить водопровод. Трофим выключил мотор и свернул шланг, а Михаил все ходил к колодцу, хотя и сам не знал, какая польза будет от его стараний.

Вечером Танюшка притащила все-таки полбанки молока, Антонина Прокофьевна наварила каши. Поели.

— А что, Мишенька, ходил бы ты в клуб, — предложила старуха. — Танцы там.

— Не хочу, бабушка, — сказал Михаил.

— Может, кино показывают.

— Пусть показывают...

— Ты, верно, там, в Москве, все картины пересмотрел, — догадалась Антонина Прокофьевна. — А у нас тоже часто кино привозят. Танюшка после прибежит, рассказывает. Да я не интересуюсь. Вот когда в церковь проводит — это спасибо. Схожу, помолюсь — вроде как своих повидаю. Заждались они меня там, небось... Не дает зачем-то Бог смерти... Нам-то, Мишенька, благодать, церковь под бочком. Хоть большую каменную под клуб переделали, а меньшую, у источника, нам, старикам, оставили — и по праздникам ходим, и в будни. А вот как в Алехино, или в Матвеевском тоже, по одной было, так теперь и помолиться негде. Если только на Пасху или на Рождество к нам придут... Да ведь не каждый может. Двенадцать верст от Матвеевского-то! О молодежи, вишь, позаботились — клубы из церквей понаделали, а пожилым и пойти некуда. А ведь хочется, Мишенька. И нам хочется... С Богом побеседовать да с людьми повидаться... Я вот хоть и не вижу, а и то послушаю, о чем говорят... А в молодости я, Мишенька, в хоре пела. Лицом-то мы некрасивые были. Не так, чтобы совсем плохие, а все же невидные, зато голос нам Бог дал. Три сестры нас было, и все три пели. Любили нас слушать-то, бывало... Где свадьба или крестины — всё нас зовут... — она задумалась и замолчала.

Михаил попытался представить бабушку молодой.

— Радостно мне, Мишенька, что ты приехал, — сказала Антонина Прокофьевна. — Хоть и не вижу лица... Туман перед глазами... Скоро, врач говорит, и вовсе ослепну. Плохо без глаз... — призналась она.

— Какой тебе диагноз поставили? — спросил Михаил.

— Что, милый? — не поняла Антонина Прокофьевна.

— Что за болезнь у тебя находят? Не помнишь? Глаукома?

— А Бог их знает, что они находят! Может, и эта... как ты говоришь. Да ведь не болезнь у меня, Мишенька.

— Как не болезнь?

— Так уж нам полагается. У нас все, кто вышивал, ослепли. Игнатьевна вон в пятьдесят четыре года вовсе ничего не видела, а мне уж восемьдесят в ту зиму сравнялось. Пора уж. За глаза я на Господа не обижаюсь... Вот что смерти не дает...

— Успеется, бабушка, не торопись.

— На том свете наших-то больше, чем на этом. Отец мой с матерью там, и Пантелеич, и Николай с Васей. А двое еще у меня младенцами померли, мальчики. Один поболел и умер, а другого бабка, Пантелеича мать, головкой об дверь стукнула. Старая уж она была — несла да не удержала. Сперва-то он, вроде, ничего. Сидел у Пантелеича на коленях, ручонки все к бороде тянул — очень ему борода нравилась. А к утру помер. Плакала я по нем, да что делать — самой-то мне времени не было нянчить. Я, Мишенька, так вышивала — теперь уж никто у нас так не умеет. Восемнадцать рублей мне хозяин платил! Большие деньги. Редко кто и в городе столько зарабатывал. Игнатьевне четырнадцать рублей положил, а мне восемнадцать. Прочим-то всем меньше. Зато уж и работала я от темна до темна. А зимой при лампе. Все, бывало, спят, а я вышиваю... В тех узорах и оставила глаза... Зато жили мы богато — шесть коров держали, двух лошадей, а уж овец — штук по двадцать за раз... Хорошо жили... Вишь, какая бабка у тебя была — умела из полотна да нитей и корову, и лошадь сотворить. — Старушка похвасталась и засмеялась. — За границу наши вышивки возили. Хорошие деньги, буд-

то, там за них давали. Сколько я их вышила-то — не перечить! Да все разные... А ни одной, гляди, не сохранилось... Нечего тебе показать... Не осталось... — Антонина Прокофьевна застыла. Может, уснула?

Михаил сидел молча, не решаясь потревожить ее. Наконец, она шевельнулась и снова заговорила:

— Нынче только во сне вышиваю. Да какие рисунки дивные! После почувствую, что это мне снится. Вот, думаю, проснусь и сразу набросаю узор, чтобы не забыть красоту такую... Да цвета какие яркие! И ниток-то таких не бывало... Не всё я, видно, вышила, что мне полагалось, вот и снится... Как начали в Сибирь высылать, там уж не до вышивок было... Пантелеича моего Господь прибрал, ну, меня с ребятишками и оставили. Антону Евдохину спасибо — он заступился, коммунистом он у нас тогда был, а то бы увезли. У кого две лошади и больше — кулаки считались, высылали, ни на что не глядели. Антон спас, царствие ему небесное. Конечно, отобрали и лошадей, и коров... Всё отобрали... Я родить должна была, да скинула. Девочку. А и без нее у меня четверо на руках осталось — Николай, Катя, Вася да твой отец. И всех-то я, кроме одного, пережила... У отца Захария молитва такая есть, особая: за сыновей наших, на поле брани убиенных. Это, значит, за Колю с Васей. А за остальных так, сама молось. Всех скорбящих матерей молитва. Дожидаются они меня там, а я всё не прибываю. Живу...

— Живи, — сказал Михаил и взял Антонину Прокофьевну за руку. — Живи, бабушка.

— Хватит уж... А ты, Мишенька... Послушай, что скажу... Крестился бы ты. Ты ведь не крещеный.

— Что ты! Зачем... — смутился Михаил. — Я в это не верю.

— Ну, а если и не веришь. Разве от крещения вред какой тебе сделается?

Михаил усмехнулся про себя ее хитрости.

— Ну, коли нету Его, Господа нашего, так ведь и крещеному, и некрещеному равно быть, а коли есть? Ты лишь на минуту представь, что есть Он. Мишенька!

Все умершие и погибшие ее дети были у Бога пристроены. Им уготована вечная жизнь, и сама она скоро с ними соединится. Один Михаил по родительской беспечности останется без милости Всевышнего. Часа своей смерти никто не ведает, а хоть и сто лет проживи — помирать всё равно когда-нибудь придется. Антонине Прокофьевне жутко было представить: Михаил, ею выхоженный и вынянченный Михаил, Мишенька ее! — пропадет вовсе, исчезнет без следа!

— Родной ты мой! Погибнешь ведь! — сказала она. — Хоть меня пожалей. Всех я там найду — и матушку мою, и отца, и Пантелеича, и Коленку с Васей, и Катюшу, да и твои родители там будут — ведь и они крещены, одного тебя не дождусь!

Михаил улыбнулся.

— Куда же я денусь?

— Исчезнешь. Вот как овца или корова. А у тебя ведь душа есть.

Пускай не верит. Там уж Господь его грехи разберет, лишь бы крестился.

— Все мы, бабушка, исчезнем, — сказал Михаил. — Все — и крещеные, и некрещеные... Мы только тут живем. Дальше ничего не будет...

«Прости его, Господи, за такие речи», — подумала Антонина Прокофьевна, а вслух сказала:

— Может, ты боишься — узнает кто? Так ты не бойся! Я с отцом Захарием переговорю — он так устроит, никто не пронюхает. Уважь, Мишенька, меня. Дай помереть спокойно.

— Не могу я, — повторил Михаил. — Пойми, бабушка, не могу. Как я буду делать то, во что не верю! Зачем? Давай лучше подумаем, как на этом свете дальше жить. Тебе надо ехать в Москву, показаться хоро-

шим врачам, наверно, можно еще что-нибудь сделать, чтобы ты не ослепла вовсе.

— Куда мне! Что ты! Я, может, нынче лягу, а завтра и не встану. Нет, мне на этом свете ничего не надо. Ничего не хочу... Всем довольна... Ты живи — ты молодой.

— Всё равно поедешь со мной, — сказал Михаил. Антонина Прокофьевна покачала головой.

Они еще посидели, а потом разошлись спать. Но заснуть Михаил не мог. Из клуба доносилась музыка, потом ее заглушили ругань и крики. Драка то приближалась, то отодвигалась куда-то, пока наконец не затихла. Тогда стала слышна далекая песня. Кто-то проходил под окнами, перекликался, шептался. Свежие, легкие запахи залетали в окно, манили в темноту теплой живой ночи. Неподалеку хихикал девичий голосок. Антонина Прокофьевна ворочалась на своем топчане. Тоже, видно, не спала. «Заберу ее, — думал Михаил. — Давно надо было... Отец ездил... Когда? Лет пять назад... Наверно, она и тогда уже плохо видела...» Он вспомнил какой-то разговор между родителями. Мать говорила: «Не забывай, она весь век прожила в деревне. У себя она, хоть и не видит, знает каждую полочку, каждую щелочку, а у нас? Мы целый день на работе, Миша в школе. Да и где мы ее поместим?» Может, найти тут кого-нибудь, кто бы присматривал за ней, помогал? «Завтра же напишу домой, — решил Михаил и стал думать о Дине. — Где она сейчас? Сидит, наверно, с ребятами у костра... Такая ночь... Поют под гитару... Если поженимся, родители подкинут на кооператив. И с той, и с другой стороны...»

На улице десяток голосов тянул песню. Из всех слов Михаил разбирал лишь: «...одно-ова-а-а... живем!» Потом голоса снова разлаживались, разбредались и собирались вместе только к этому «однова живем». «Странное какое слово, — подумал Михаил,

— снова...» Песня стихла, и Михаил незаметно задремал, наконец.

Вдруг он проснулся. Кругом было тихо и темно. Какие-то слабые шорохи раздавались за стеной, будто кто-то дышал и ворочался во сне. Двадцать овец... Жмутся, сонные, друг к другу... Коровы лежат, поджавши ноги... С ними телята... А лошади спят стоя... Две лошади и у каждой по жеребеночку... В доме, на кровати, спит Пантелеич... Молодая бабушка... Ребятишки... Один из них — его отец... За перегородкой храпит старуха, мать Пантелеича... Полный дом людей... Лошадь заржала тихонько, ворочаются овцы... Начатое рукоделие у окна... Шелковые нити... Еще не законченный узор... Протянуть руку и пощупать... В этом самом доме... И такая же летняя ночь за окном...

Михаил лежал с открытыми глазами. Перед светом он снова заснул. Сны ему снились тяжелые, дурацкие — какие-то взрывы, чьи-то крики. Михаил вздрагивал, втискивал голову в подушку. Мимо окон прошел пастух. Михаил слышал, как он собирает стадо, но очнуться не мог, и пастух тоже стал ему сниться. Почему-то вместо того, чтобы смотреть за скотиной, он начал гоняться за Михаилом. Михаил убегал, забился в какой-то угол, но пастух нашел его.

Михаил проснулся. Ломило виски, ухало сердце. Солнца еще не было. Ровный серый свет заливал пустую избу. Михаил поднялся с постели, прошел босиком по прохладному дощатому полу. Бабушка спала на спине, чуть приоткрыв рот. Беспольные очки восседали на носу. Михаилу вдруг показалось, что она не дышит. Он наклонился, прислушался. Нет, живая!.. Он глянул в оконце на безлюдную тихую улицу, постоял, выпил водицы из ковша и прошлепал обратно к кровати.

## XI

Беспокойство подняло Елисея Аполлинарьевича на ноги чуть свет. Нет, ни в коем случае нельзя упустить такой случай. Внезапно подвернувшееся знакомство во что бы то ни стало нужно упрочить и закрепить. Этот человек может оказаться весьма и весьма полезен. При нынешней конъюнктуре... Как это много значит — иметь возможность обратиться, напомнить о себе. Многие из тех, кто пришел в литературу гораздо позже, теперь занимают посты и должности, прекрасно устроены, не зависят ни от каких случайных гонораров, и уж, конечно, не благодаря своим литературным талантам! Да... Неплохо бы, однако, часика два поработать...

Елисей Аполлинарьевич наскоро перекусил, всунул ноги в валенки, уселся за стол и придвинул к себе рукопись. С этим романом Старцеву повезло. Жизнь подкинула прекрасный сюжет — острый, современный, именно то, что нужно. И главное — всё случилось именно здесь, в Рязанской области. Материал сам пришел по адресу. Этот Ларионов заварил кашу будто по заказу Елисея Аполлинарьевича. Некоторые детали, естественно, придется опустить, но в целом...

Старцев принялся перечитывать последние страницы. Сцена удалась. Кульминационная точка романа. Колхозники гонят на заготпункт личный скот.

«Степан поднялся до света. Направился в хлев. Корова глянула на него большим умным глазом, однако же продолжала жевать. «Эх, ничего-то ты не понимаешь!.. — подумал Степан. — Не чуешь, не ведаешь, что ноне-то нам расставаться...» Вошла Аксинья с подойником, села доить — в последний разочек! Степан не стерпел смотреть, вышел. Постоял у ворот. По соседним дворам, будто бы и не собираются. А идти всё одно надо. «Эх, чего уж! Идти так идти!»

— Скоро ли? — крикнул Аксинье.

Не дождавшись ответа, вернулся в избу. Словно бы и делать ноне нечего. А стоять Степану из-за его характера неуседливого никак невозможно. Сдернул с полки, что над диваном, гармонь, вскинул на плечо и развел меха — э-э-эх!.. Не та музыка!.. Через окно увидел — выводит Аксинья корову на улицу. Пора! Как был, с гармонью в руках, спустился с крыльца. Буренка волновалась, не привыкла, чтобы на веревке водили. Вон и Потычиха выперлась на улицу со своей Белухой, а за ней и Клашка с ребятней. Всем семейством провожают. Тут Аксинья припала телом к коровьему боку и заревела:

— Степан!.. Как же мы без нее, а, Степан?

Степан озлился, не терпел срамоты на людях, отнял у жены веревку.

— Пусти ты! Дай, сам поведу. Ступай в избу.

Аксинья послушалась, поотстала.

Вот уж со всех дворов посыпали владельцы со скотом. Степан шел первый, посреди улицы.

— Голубушка ты наша, кормилица, — запричитала сухорукая Матрена. — Куда тебя, родимую, уводят!

Бабы поддержали — заревели, запричитали. Чтоб им пусто было! Душу рвут!.. Степан развел меха и заиграл. Не слышать ихнего бабьего стону. Веревка только ему мешала. Тогда накинул ее Степан себе на шею и двинул вдоль по селу. Играй, гармошечка, разговаривай! Где наша не пропадала!

Так и прошел перед всем миром — с гармонью в руках да с веревкой на шее...»

Старцев перечитал и вздохнул. Впечатляющий образ. Пожалуй, даже слишком... Елисей Аполлинарьевич раскрыл авторучку и старательно вымарал: «да с веревкой на шее». «Так и прошел перед всем миром — с гармонью в руках...» Этого вполне достаточно. Сцена сама по себе весьма драматическая, не требует никаких дополнительных эффектов. «Подумал Степан,

заиграл и двинулся вдоль по улице...» Хорошо. А куда же ее девать — эту веревку? Можно так: «Отнял у жены веревку и заткнул ее себе за пояс». Отлично! Елисей Аполлинарьевич потянулся и взглянул на часы. Пожалуй, на сегодня хватит. Пора двигаться на пляж. Но тут Елисей Аполлинарьевич вспомнил, что не располагает плавками. Приобретение плавок всегда казалось ему ненужной роскошью, поскольку он вообще купался чрезвычайно редко, да и в этих случаях прекрасно обходился трусами. Но показаться в трусах перед Екатериной Денисовной неудобно. Елисей Аполлинарьевич принялся рыться в шкафу в надежде найти какую-нибудь замену злосчастным плавкам, но ничего подходящего не обнаружил. Оставался один выход — не раздеваться вовсе. Елисей Аполлинарьевич натянул парусиновые брюки (эти брюки он получил по карточкам незадолго до конца войны, брюки оказались замечательно прочными и выглядели совсем как новые), захватил полотенце, книгу, подумал, достал из ящика стола колоду карт, сунул в карман и вышел. Солнце недавно взошло и не успело еще прогреть воздух. Елисей Аполлинарьевича пробрал холодок. Он накинул на плечи полотенце и зашагал к реке.

Константин Павлович и Екатерина Денисовна появились на пляже лишь перед обедом, когда Старцев окончательно потерял надежду увидеть их. Елисей Аполлинарьевич поднялся навстречу и помахал.

— Доброе утро, — сказала Екатерина Денисовна. — Как вода?

— Чудесная! — поспешил заверить Старцев, но вынужденный объяснить свой наряд, прибавил: — Я-то вообще сам не купался — радикулит что-то прихватил, дай, думаю, погреюсь на солнышке...

Екатерина Денисовна расстелила под бледной тенью одинокой ивы одеяло, и они с Константином Павловичем улеглись рядком. Старцев примостился возле на своем полотенце.

— Необыкновенно жаркое лето, — сказал Елисей Аполлинарьевич. — Вы подумайте, четвертую неделю ни капли дождя!

— Не говорите, невыносимое пекло, — откликнулась Екатерина Денисовна. — Константин Павлович так тяжело переносит жару, мы из-за этого, можно сказать, и от Крыма отказались, и от Кавказа, и вот пожалуйста — как не повезло!

— Ужасно, — поддакнул Елисей Аполлинарьевич.

Но дальше разговор не клеился. Неподалеку трое молодых людей играли в дурачка.

— Жалко, не догадались карты захватить, — сказал Константин Павлович.

Старцев в душе возликовал от своей предусмотрительности и вытащил из кармана колоду.

— У меня как раз имеются. — Но чтобы Константин Павлович не подумал о нем, как о каком-нибудь шулере, который без карт шагу не ступит, добавил: — Вообще-то я редко когда... Вот разве на пляже только... Если кто из знакомых...

— Ну что, маленькую до тридцати? — предложил Константин Павлович.

Карта шла Екатерине Денисовне. У нее был чистый «верх» и шестнадцать в «пуле».

— Простите... — Все подняли головы. Над ними стоял один из тех юношей, что резались в дурачка. — Можно поглядеть ваши очки?

Екатерина Денисовна не нашлась, что ответить, парень нагнулся, потянул очки к себе, повертел в руках, потом надел, покрутил головой из стороны в сторону.

— Ага, спасибо, — сказал он, вернул очки и отошел.

Но после этого везение изменило Екатерине Денисовне. Елисей Аполлинарьевич сыграл две шестерные, причем посадил Константина Павловича без двух на висте. Тот хмуро заметил, что порядочные люди на

восьми шесть не играют. Старцев растерялся и стал объяснять, что никаких восьми у него не было, потому что если бы четыре пики на одну руку да три козыря...

— И револьвер в живот, — добавил Константин Павлович, отодвинул карты, снял очки и пошел купаться.

Екатерина Денисовна последовала за ним. Елисей Аполлинарьевич остался в одиночестве. Екатерина Денисовна плескалась возле самого берега, приседая и окатывая водой плечи. Константин Павлович не спеша плыл. Старцев наблюдал за ними с берега. Неужели обиделись? Не мог же он, в самом деле, предвидеть расклад. Екатерина Денисовна и Константин Павлович вышли из воды, вытерлись полотенцем и снова улеглись на одеяло.

— Ну, Елисей Аполлинарьевич, что вы нам тут приготовили? — спросила Екатерина Денисовна игриво. — Наверно, ловленный мизер?

— Да нет... я... — Старцев принялся спешно тасовать карты.

Сыграли еще два круга. Константину Павловичу пришла восьмерная. Елисей Аполлинарьевич сыграл семерную и сел без взятки.

— А где, Костик, мои очки? — спросила вдруг Екатерина Денисовна и стала шарить вокруг Константина Павловича. — Ну-ка, встань.

Старцев тоже вскочил. Подняли одеяло. Перетряхнули все вещи. Очков нигде не было.

Екатерина Денисовна пристально посмотрела на Константина Павловича.

— Костик, — сказала она. — По-моему, ты мои надел.

— Глупости, — ответил Константин Павлович, но на всякий случай снял очки — взглянуть. — Твои были светлее и меньше размером.

— Покажи, покажи, — настаивала Екатерина Денисовна.

— Что, в самом деле, — рассердился Константин Павлович, — как будто я своих очков не знаю!

Екатерине Денисовне пришлось согласиться, что пропали именно ее очки.

— Как вам это нравится, — сказала она. — Померил, подойдут ли, а потом забрал и ушел!

Действительно, молодых людей на пляже не стало. Старцев как-то даже не заметил, когда они исчезли.

— Негодяи! — сказала Екатерина Денисовна и принялась запихивать одеяло в сумку.

Через минуту все трое уже подымались на платину — впереди Константин Павлович, за ним Екатерина Денисовна, а сзади Старцев.

— Как же так, — бормотал Елисей Аполлинарьевич. — Не понимаю... Я же все время... никуда не отходил...

Домой он вернулся расстроенный и усталый. То ли от долгого лежания на солнце, то ли от подъема в гору у него разболелось сердце. Он уселся в свое кресло, вздохнул тяжело, потом придвинул лежащую на столе рукопись и снова принялся перечитывать последние страницы. Чёрт знает что! Мальчишество какое-то, глупое критиканство. Фрондерство никому не нужное. Слава Богу, что никто еще не читал. Елисей Аполлинарьевич разорвал страницы в мелкие клочки и бросил в корзину.

— Липа, что ты делаешь? — услышал он голос матери.

— В чем дело, мама? Что тебе нужно? — спросил он раздраженно.

— Почему ты рвешь?

— Ну, какое тебе дело! Оставь меня в покое!

Старуха удалилась, через минуту Елисей Аполлинарьевич услышал ее голос на кухне. Затем в кабинет вошла Ирина.

— Елисей, что случилось? — спросила она озабоченно. — У тебя какие-нибудь неприятности?

— Какие у меня могут быть неприятности! Оставьте меня, пожалуйста!

— Ты переутомился. Тебе следует отдохнуть, — сказала Ирина.

— Возможно, — согласился Старцев.

Ирина вздохнула, поднялась и вышла, осторожно прикрыв за собой дверь.

Елисей Аполлинарьевич запустил пальцы в сидящие волосы и застонал. Всё не то, не то, не то! Прежде все-таки было проще...

## XII

Утром Михаила разбудил громкий старушечий голос.

— Здравствуй, свет ты мой Прокофьевна! Дома ты али нет?

Михаил открыл глаза и увидел, что посреди комнаты стоит чужая бабка и неизвестно кому кланяется в пояс.

— Прокофьевна! — позвала старуха. — Где ты есть? Неужто ушла куда?..

— Тут я, тут, — откликнулась, входя, бабушка. Старуха повернулась на голос и снова поклонилась.

— Здравствуй, свет ты мой!

— Это, никак ты, Игнатъевна? — спросила Антонина Прокофьевна.

— Я, милая, я! Дай, думаю, зайду проведаю...

— Ну так здравствуй! — С этими словами и бабушка поклонилась гостье. — Садись-ка тут, а я чаю поставлю.

— Куда, чаю! — запротестовала Игнатъевна. —

И так жара неведомо какая! Я так зашла — поговорить. Скучно дома одной.

— Ну и что — жара, — сказала Антонина Прокофьевна. — Чаю попить можно. Вот и Миша с нами попьет. Внук ведь ко мне приехал, слышала?

— Уже слышала!

— Я его и не признала, — стала рассказывать бабушка. — Слышу шаги на крыльце, подымается кто-то. Поздоровался, а я и говорю: заходи, мол, заходи, а сама соображаю — кто такой, голоса-то не признаю. Вот, говорит, бабушка, приехал. Да кто ты, говорю, милый, будешь? Не вижу я, ты уж не прогневайся. Михаил, говорит, я. Я и подумала — Колесниковых. А он смеется: нет, Антоновых. Я уж и не знаю, на кого думать — всех перебрала, а Михаила не нахожу. Что это, думаю — глазами уж точно я плоха стала, а памятью вроде бы еще не ослабела. А это, оказывается, внук. Ах ты, батюшки! Приехал! Не забыл, значит. Вот уж, Игнатъевна, мне радость, прямо и сказать тебе не могу...

Игнатъевна кивала головой и поддакивала.

Вскипел чай.

— Миша! — позвала Антонина Прокофьевна. — Ты всё спишь?

— Встаю, — откликнулся Михаил.

Он оделся, сходил к колодцу, умылся и, вернувшись обратно в избу, поздоровался с Игнатъевной.

Та поднялась и поклонилась.

— Здравствуй, голубчик. Как тебя по батюшке-то? Забыла я.

— Я молодой, Мишей зовите.

— Не привыкла я, милый, ты уж мне скажи.

Михаил назваля по отчеству, и старуха успокоилась. Принялась обсуждать с Антониной Прокофьевной небывалую жару.

— Как бы пожаров не случилось. Вот что, — заметила Игнатъевна.

— Избави, Господи, — напугалась Антонина Прокофьевна. — Смерти не страшусь, а гореть не хочу. Жутко, Игнатьевна, гореть. Случись ведь займется — я и не выскочу. Двери-то со страху не найду. Танюшка обещала: ты, Прокофьевна, не бойся, я, говорит, за тобой откуда хочешь прибегу — хоть дома буду, хоть в школе, хоть где. А как не поспеет?..

Михаил, нахмурившись, слушал этот разговор, наскоро выпил свой чай, поднялся из-за стола, поблагодарил и отправился на пляж. Искупался, повалялся на песочке, полюбовался Окой, снова искупался и потопал домой. Попробовал от скуки читать, но скоро захлопнул книгу. И в избе, и на улице было одинаково душно. Можно пойти еще разок искупаться, но обратно опять придется тащиться по солнцепеку в гору... Михаил вышел на улицу и окатился у колодца из ведра. Вдруг он заметил в ближнем огороде щеночка, как будто породистого. Михаил подошел к забору и принялся подзывать щенка, но тот сражался с кустом помидора: ухватившись зубами за ботву, таскал куст из стороны в сторону и на Михаила не обращал никакого внимания. Отпустив, наконец, изуродованный куст, щенок потрусил к плетню, но не туда, где стоял Михаил, а в противоположную сторону. Добежав до изгороди, песик без труда пролез между двумя жердями и двинулся себе куда-то дальше.

Пока Михаил наблюдал за щенком, одежда на нем совершенно просохла — хоть иди снова обливайся.

На середину улицы вдруг выскочила Танюшка и остановилась, оглядываясь.

— Как жизнь, Татьяна? — крикнул Михаил.

Таня повернулась к нему, махнула рукой.

— Какая тебе жизнь! Поросенок вон у меня заболел. Ничего жрать не хочет. С чего бы это?.. И мамку как раз в Высокое услали. Чего делать — не знаю. Или к ветеринару бежать? Он у нас живодер такой, ветеринар этот — лечить ни грамма не хочет,

чуть заболела скотина — сразу резать. Только одно и знает — резать.

— Давай погляжу твоего поросенка, — предложил Михаил.

Таня посмотрела на него с сомнением, но все же разрешила. Михаил вошел через сени во двор и увидел в загончике двух здоровенных жирных свиней. Обе лежали, но одна тут же приподнялась и призывно захрюкала, а другая так и осталась на земле, только слегка скосила на Михаила малюсенький глаз.

— Ну и поросята у тебя! — удивился Михаил. — Это не поросята, а форменные свиньи!

— Не, — возразила Танюшка. — Та свинка, — она указала на здоровую. — А этот поросенок.

— Знаешь что, ты лучше свою свинку от него уведи, — посоветовал Михаил. — А то как бы и она не заболела. — Потом он осмотрел занедужившего поросенка, но ничего особенного не заметил. — Придется тебе, наверно, все-таки ветеринара звать.

— Прямо и не знаю, — повторила Таня. — Уж буду мамку ждать. Он вообще у нас слабый, этот поросенок. А всё через нашего ветеринара-живодера. Понесли к нему холостить, так он не поверишь как вырезал — весь живот искромсал. Полтора месяца после беденький болел. Сколько пенициллина ему искололи — даже невозможно! Уж как жалко его было — весь огнем горел. И ведь каждый год беда с этим ветеринаром, ничего он не умеет. На тот год уж мы ему не понесем. Лучше папка куда свезет.

— А что, обязательно их холостить? — спросил Михаил, который в сельском хозяйстве разбирался значительно хуже, чем лежавшие перед ним свиньи в апельсинах: свиньям все-таки пару раз доставались корочки от заморского фрукта, когда Трофим привозил гостинцы для Танюшки.

— А то как же, — удивилась Таня его младенческому неведению. — У хряка знаешь какое мясо

вонючее — есть не станешь. Вон, в магазине у нас один раз продавали. Мы даже подумали испорченное. А оказалось, хряк. Сперва-то все накинулись, а после обратно понесли.

— А если одних свинок оставлять? — придумал Михаил.

— Так ведь свинка — это только для поросят. А мясо-то у нее не очень. Вроде как крупинками. К тому же поросенок больше.

Пока они таким образом толковали, сидя на корточках и наблюдая за больным, тот принялся повизгивать и попытался встать на ноги. Но вдруг опять затих.

— Болит у него, — сказал Танюшка.

— Может, он что-нибудь съел такое... неподходящее? — предположил Михаил.

— А чего ж тут съесть? Что ей, то и ему давала... Кабы ветеринар у нас не такой живодер был, я бы сбегала... Пойду, что ли, папке скажу. Если Степан Зорю с Субботкой пригонит, ты попаси тут маленько, ладно?

Таня указала рукой в сторону парка, который колхоз все пытался разбить на месте бывшего церковного двора. Из этой затеи ничего не выходило, потому что, несмотря на строгие таблицы, крестьяне дружно пасли вечно юном саду коз и коров.

— Она у нас спокойная, Зоря-то, — добавила Танюшка и, оставив Михаила возле поросенка, убежала.

Михаил вышел на крыльцо. Тот же щенок, что недавно воевал с помидором, теперь пробежал, поджавши хвостик, по улице. Михаил удивился, что породистая собачка гуляет без присмотра, словно какая-нибудь дворняжка, но после решил — кто его знает — может, тут так принято. Кроме щенка, на улице никого не было видно, и Михаил вернулся к поросенку. Тот как будто не собирался пока помирать.

Вскоре пастух действительно пригнал стадо, хотя

до вечера было еще далеко. Зоря сама направилась к воротам, ведя за собой Субботку. У ворот корова остановилась, вытянула голову и замычала. Михаил бросился навстречу и попытался, как было велено, заманить порученную ему скотину в парк. Сперва Зоря вроде бы пошла за ним, но потом вдруг изменила маршрут и бегом бросилась по улице. Телка помчалась за ней. Михаил бежал сзади, не зная, что предпринять. Он попытался заскочить вперед, чтобы остановить ошалевшую корову, но ему помешал поднимаемый посреди улицы сруб. Корова ловко обогнула препятствие с другой стороны и пустилась дальше.

Михаил заметил возле колодца какую-то женщину, хотел крикнуть ей, чтобы ловила корову, но сообразил, что та все равно не бросит ворот. Однако, добежав до колодца, Зоря сама остановилась как вкопанная, сунула голову в полное уже ведро и в минуту вытянула всю воду до доньшка.

— Извините, пожалуйста, — пробормотал подбежавший Михаил. — Разрешите, я наберу...

Женщина между тем вытащила еще одно ведро, толкнула Зорю в шею и перелила воду. Корова вознамерилась опять сунуть голову в ведро, но женщина не дала, а пододвинула ведро телке.

Михаил поспешил набрать воды. Барабан завертелся, обжигая ладонь, и, наконец, откуда-то из глубины земли донесся слабый всплеск. Пока Михаил трудился, наматывая трос, женщина гладила телку и приговаривала:

— Истомилася!.. Ах ты, моя хорошая... Пей, Субботушка, пей...

Корова отошла к канаве и принялась пощипывать пыльную желтую траву.

Михаил вытащил ведро, поставил на край колодца. Телка не осилила всей предложенной ей воды, и женщина, даже не слив остатка, долила ведро до кра-

ев. Михаил хотел набрать еще, но женщина отстранила его.

— Чего уж... — сказала она, когда он пытался возразить.

Наполнив второе ведро, женщина ушла. Михаил стал думать, как вернуть корову к дому.

— Зоря, Зоря, — звал он, но корова на него и не глядела.

Тогда он стал поглаживать ей бока, как это делала женщина. Зоре понравилась ласка — она согласно кивала головой. Михаил подтолкнул ее, она сделала несколько шагов и опять стала. Михаил снова погладил и снова подтолкнул. Потом почесал ей как кошке за ухом, потом между рогов.

Трофим издали увидел свою корову с телкой и с ними Михаила. После он весь вечер смеялся:

— Он-то ее обглаживает, а она рога развесила и стоит. И про траву забыла, и про всё!

### XIII

В обед Иван первым делом стал кормить щенка.

— Сам-то поешь, — заметила Анна.

Иван похлебал наскоро щей и отправился к деду Афанасию — первому охотнику на селе. Похвастаться собакой, а во-вторых, посоветоваться, как ее лучше приучать. Афанасий разглядел щенка, похвалил и принялся обстоятельно рассказывать, что когда надо делать. Из-за этого Иван даже опоздал с обеда на работу. Он отнес щенка обратно — Анны уже не было, ушла к себе на почту — пустил в комнату и запер дом на замок.

С работы Иван завернул на минуту к Григорию и повстречал там Макара. Макар спорил с дедом, размахивал руками и рвал на себе рубаху.

— Ты погоди, — говорил Григорий, едва проры-

ваясь через его крик. — Две бутылки ты взял, а после по стакану четыре раза...

— Две? — переспросил Макар. — Не брал! Ничего не брал!

— Как же не брал, — нервничал дед. — Василий еще тут был. И он видел, что взял ты!

— Ну? — сказал Макар, вспомнив, что Василий в самом деле видел.

— Ну вот. А после еще...

— Одну брал. А больше ни грамма ничего не брал!

— А после еще одну да четыре стакана — всего выходит три бутылки.

— Обмануть Макара хочешь! — завопил Макар и снова ухватился рвать на себе рубаху. — Нажиться хочешь!

— Налей-ка мне, дед, стаканчик, — сказал Иван, проходя мимо него в комнату.

Дед вытащил из буфета бутылку и налил. Макар внезапно замолчал, подошел и стал рядом. Иван выпил, закусил печеной картошкой, которая кучкой лежала прямо на столе.

— Три говоришь? Ладно, пусть три, — внезапно согласился Макар. — Налей-ка давай.

— Отдай, сколько должен — налью, — ответил Григорий, затыкая бутылку и убирая на место.

— Сволочь ты! Душегуб! — заорал Макар, наскочив на Григория и пытаясь силой отнять бутылку.

— Тихо ты! — сказал Иван, отпихивая его. — Налей ему, дед, я заплачу.

— Детей спаивает! — визжал Макар. — Ребяتيшек! Все известно. Макара не проведешь. Думаешь, я не знаю, сколько у него денег? Привести милицию, так найдут! Все найдут!

— Налей ему маленько, — повторил Иван.

Но Григорий уже разозлился и не желал уступать.

— Пушай в другом месте себе ищет!

В конце концов дед сдался — исключительно из уважения к Ивану — и налил Макару стакан. Но за всем этим делом Иван потерял немало времени. А ведь дома его ждала собака. Кроме того, он хотел сегодня поделаться кое-чего. Анна давно гудела, что над двором надо стелить новую крышу. Поскольку она уважила Ивана и сама дала денег на собаку, он тоже не хотел оставаться в долгу. По совести, конечно, надо было не крышу менять, а весь двор новый ставить — этот уже наполовину сгнил и покосился. Председатель, если его попросить, может и материал дать, и плотников пришлет. Только ни к чему это. Триста рублей по квитанции отдай да еще то да се — все четыреста выйдет. При том, что Иван получает в мастерских восемьдесят в месяц, выходит не есть, не пить — чуть не полгода работать на один двор. Уж лучше купить лес и справиться все самому. За лето как-нибудь успеет. Чего там — за лето, за полтора месяца можно поставить, если как следует взяться. Глядишь, и Макар по-свойски подсобит. А если председатель не станет лесу давать, шут с ним, и без него найдется. Прямо с весны и начать. Заодно и избу поправить. А нынешний год крышу перестилать ни к чему. Подлатать, чтобы не текла, и порядок.

Обдумав хозяйственные дела, Иван зашел в дом и прежде всего спросил про собаку. Анна глянула и ничего не ответила. Иван посвистел, заглянул под стол, под кровать, под тумбочку, после чего снова повернулся к Анне.

— Где собака?

— Я ей не сторож, твоей собаке. Завел — сам и смотри. А я не приставлена.

Иван еще поползал по избе, но все без толку. Анна подлила масла в огонь.

— Если в сени выскочила, то и искать нечего, — заметила она спокойно. — Такие дырищи в сенях-то, что не одна собака, а и человек выползет.

Намек на его бесхозяйственность сегодня, когда он как раз собрался взяться за дела, был Ивану особенно обиден. Но он смолчал. Обшарил двор и огород. Щенка нигде не было. Иван вышел на улицу. Молодежь собиралась в клуб — отдельно группками подходили парни, отдельно девчата. Из раскрытых дверей долетала музыка. Неизвестно откуда появился Макар и принялся выплясывать и вертеться волчком перед девушками. Те похихикали и скрылись в клубе. Макар отстал, но продолжал притоптывать и взмахивать руками.

— Собаки моей не видал? — спросил Иван.

— Не, не видал! — выкрикнул Макар весело.

Иван обошел всё село, заглядывал в чужие огороды, в овраг, на кладбище. Щенка нигде не было. Ни возле церкви, ни в мастерских, ни в свинарнике, ни в коровнике, ни даже на кирпичном заводе.

В свирепой тоске Иван повернул к дому.

— Папка, где Пятнашка? — встретила его Маринка.

Иван промолчал. Маринка заревела. Анна сидела, что-то шила. Иван прошел за загородку. Анна проводила его взглядом и не утерпела:

— Что, выкинул денежки?

Иван сдержался.

— Может, этот собачонок у него приученный — он на нем деньги наживает: продаст, а он обратно к нему вертается.

У Ивана не было желания разбираться — болтает она от глупости или от вредности. Он сел на постель и принялся стягивать сапоги.

— Плохо ли — сколько раз продаст и всё по десятке! Или другие-то поумней? Не дадут столько? Ну, хоть по пятерочке, и то ладно.

Иван почувствовал, как что-то темное, тягучее заливает ему глаза. Он нащупал на тумбочке зеркало и швырнул в ту сторону, где сидела Анна. Раздался

звон, следом крик. Иван кое-как натянул сапоги и вышел вон из дому. Очутившись на улице, он остановился. Идти ему было некуда. Парни и девчата, человек шесть, шли со стороны клуба. Иван услышал голоса и отступил за калитку. Потом он поднялся в сени и прошел во двор. Тут он зажег электричество и уселся на чурку против козы. Потревоженная светом коза уставилась на Ивана глупыми глазами, дескать, чего пугаешь, отдыхать не даешь. Пусть пялится — ничего ей не сделается. А щенок пропал... Не успел завести — и пропал!.. Иван застонал. Вспомнилась ему Милка, их последняя корова. Корова — это тебе не коза... Как смотрела, когда уводили. Точно прощались... И заводить-то ее не надо было. До этого уже два раза забирали, учили уму-разуму. Всё Анна. Она никогда ничего понимать не хочет. На корову не набрала, купила телку. Кормила, выхаживала, только первого молочка дождалась, тут они и подоспели, гости незваные... Давай, хозяин, пиши заявление... Ночью. На испуг берут. Анна выскочила в одной рубахе, давай орать:

— Не имеешь права писать, не твоя корова!

Парторг бумагу подсовывает, председатель ручку подает, а Афоня-милиционер Анну от стола оттирает. Та думала, сразу и уведут Милку, кинулась во двор — не давать. Однако нет. Свернул председатель заявление, и ушли все трое. Дней пять тихо было. Бабы сдуру стали болтать — может, вовсе оставят. Дескать, из самой Москвы указание пришло — не брать. А в воскресенье они и явились. Анна свою Милку обхватила, повисла. Оттащили — стала падать под ноги. Скрутил ей Афоня руки и к Ивану пихает — держи, мол. Сам держи... Анна вывернулась, да Ивану же кулаком в нос. И опять к корове.

— Убейте! — кричит. — Мучители, изверги, убейте, не отдам!

Покуда власти воевали с Анной, другие бабы

подоспели да и растащили свою скотину по домам. Помимо всего прочего, Анна на Афоне штаны разорвала. Так и ушел, сверкая ляжками.

Иван вспомнил и усмехнулся. Анна-то, дуреха, думала, победила — одной рукой Милку обнимает, другой слезы по щекам размазывает...

Через два дня пришли солдатики с автоматами. Чистенькие, подтянутые, молоденькие... Пятеро вошли во двор, один закинул автомат за плечо и повел Милку. Анна тут уже не кричала, не падала, не дралась. Другие бабы еще выли, сзади бежали, а Анна будто обомлела, так ни шагу и не сделала. То-то! Против автомата не попрешь... Небось, сам с винтовкой стоял, когда у бессарабов скот уводили. Было что уводить — и коров, и лошадей... Зерна одного сколько вывезли... Зимой стали эти бессарабы пухнуть от голода, дохли как мухи. А Ивану медаль...

Козе никак не спалось при электричестве. Иван встал, добрался до ворот, толкнул разом обе створки, так что они распахнулись настежь, и вышел наружу. В селе было тихо. Иван постоял, вернулся мыслями к пропавшему щенку, наконец взошел на крыльцо, в дом, разделся и лег рядом с Анной. Та пробормотала что-то во сне и подвинулась, освобождая место.

#### XIV

Наглое похищение очков вконец испортило Екатерине Денисовне настроение. Она чувствовала себя одуроченной, несчастной и разбитой. Константин Павлович лег после обеда поспать, а она нигде не находила себе места. Вышла на крыльцо. В гамаке, подвешенном между березой и яблоней, дремал Олег. На улице паслась чья-то коза. Со стороны реки показался давешний паромщик, он тащил нацепленных на веревочку трех рыбёх, очевидно, собственного улова. Заметив

Екатерину Денисовну, дед Григорий приостановился и крикнул:

— Рыба не нужна?

Екатерина Денисовна неохотно спустилась с крыльца.

— Что за рыба? Покажите.

— Гляди, — Григорий протянул свой товар.

— Сколько вы за нее хотите?

— Ежели полтинник дашь, забирай.

— Пятьдесят копеек? — переспросила Екатерина Денисовна. — Подождите, сейчас вынесу.

Она вошла в дом, порылась в карманах, в сумочке, но обнаружила всего восемь копеек. Константин Павлович похрапывал, отвернувшись к стене. Екатерина Денисовна осторожно дотронулась до его плеча.

Константину Павловичу снилось, будто он сидит в Москве в своем кабинете. Правда, это был не нынешний его кабинет, а один из прежних. Константин Павлович смутно чувствовал, что кабинету полагается быть другим, но ничего не мог поделать. На столе стояла лампа под зеленым абажуром. Константин Павлович рылся в бумагах, нужно было найти одну — особенно важную — и прочесть. Бумага никак не находилась. Константин Павлович натыкался на какие-то рваные, малопонятные фразы. Некоторые буквы совсем невозможно было угадать — скверные, последние экземпляры. Да еще этот тусклый зеленый свет. Вдруг Константин Павлович заметил между двух пожелтевших бумаг совершенно новенькую десятку. Вид у купюры был такой, будто ее только сейчас отпечатали. Константин Павлович удивился, как она сюда попала, и тут же увидел еще одну. Он сложил обе бумажки вместе, но не знал, радоваться находке или нет. Деньги явно были чужие. Но чьи? Придется отдать их или можно как-нибудь оставить? Пока что Константин Павлович решил на всякий случай припрятать их. Он выдвинул ящик стола — Боже! — весь

ящик был набит лоснящимися от своей новизны десятками. Константин Павлович оглянулся боязливо — не наблюдает ли за ним кто, взял часть денег и принялся считать. Но странное дело — чем больше он считал, тем больше становилось купюр. Уже весь стол был завален красненькими бумажками. Стоило только дотронуться до одной, как оказывалось, что это слиплись вместе две и от прикосновения они разделялись и множились. Константин Павлович понял, что ему все равно никогда не сосчитать, и стал запихивать деньги в карманы пиджака.

— Костик, у тебя мелочь есть? — спросила Екатерина Денисовна.

— Что? — испуганно спросил Константин Павлович. Перед глазами у него все еще плавали огненные десятки.

— Пятьдесят копеек, уплатить за рыбу, — объяснила Екатерина Денисовна.

— Посмотри в брюках.

Екатерина Денисовна вторично обшарила карманы.

— Костя, тут ничего нету.

— Странно, — сказал Константин Павлович. — Ну, попроси у Олега.

Екатерина Денисовна вышла, Константин Павлович перевернулся снова на бок и закрыл глаза. Но спать ему больше не хотелось. Он припомнил свой сон и вдруг подумал: «Семьсот рублей! Ежемесячно. Плюс продукты из распределителя. И все-таки денег вечно не хватает. На себя, можно сказать, ничего не тратю. Ну, ладно, тряпки она покупает. Допустим, портниха — бочка бездонная, чтоб ее разорвало! Но ведь семьсот рублей!» Внезапно Константин Павлович все понял. Жена его обманывает. Безусловно! Как он раньше не догадался! Но куда она девает такие суммы? Вероятно, кладет на книжку, на свое имя. Константину Павловичу страстно захотелось немедленно

вернуться домой, чтобы разыскать эти тайные книжки. Пусть даже придется весь дом вверх дном перевернуть. Он ее выведет на чистую воду! Небось, не первый год она его водит за нос. Ну, ничего!..

Константин Павлович так разволновался, что встал с постели, оделся и вышел наружу. Екатерина Денисовна сидела возле крыльца и чистила рыбу. Ей помогала какая-то девушка. Константину Павловичу показалось, что он уже видел ее где-то, кажется, у Старцева.

— Мы с вами тезки, — сказала девушка и немного погодя добавила: — Меня тоже зовут Екатериной.

— Вот как, — откликнулась Екатерина Денисовна.

— Зря вы эту рыбу купили, — произнесла младшая Екатерина многозначительно.

— Почему?

Катенька молчала, тупо глядя на нож, которым сдирала чешую.

— А в чем дело? — заволновалась Екатерина Денисовна.

— Она нефтью воняет...

— Я пойду пройдуся, — сказал Константин Павлович и направился в сторону рощицы.

К вечеру воздух как-то повлажнел, пахло землей, прелыми листьями, грибами. «Природа, — подумал Константин Павлович, окидывая взглядом стволы берез. — Столько лет все в санаториях, на курортах — кипарисы, магнолии разные... Чужое все... А тут — вот она — земля русская!..» Константин Павлович расчувствовался и наклонился сорвать какую-то мать-и-мачеху. Распрямившись, он увидел прямо перед собой Катеньку. Некоторое время они молча смотрели друг на друга.

— Хотите, я вам почитаю Гумилева? — сказала Катя.

— А... Екатерина Денисовна что, не пошла с тобой?

— Нет, она жарит рыбу. Деревья. Я знаю, что деревьям, а не нам... — Катя направилась к оврагу, Константин Павлович последовал за ней. — Есть Моисей посреди дубов, Марии между пальм...

Константин Павлович не особенно прислушивался, зато успел оценить обстановку.

— Давай сядем, — сказал он, беря Катю за руку. — Смотри, как тут хорошо. — Они уселись под стволом березы. — Ты, наверно, сама пишешь стихи? Почитай мне, а?..

Катя подняла глаза к небу.

— Я буду вам домом, и садом, и рощей. Я буду нежнее, и мягче и проще...

— Ты чудная, — прошептал Константин Павлович, проникая рукой в вырез ее блузки.

Стемнело. В роще сделалось сыро и прохладно.

— Пойдем, милая, — сказал Константин Павлович. — А то как бы мой радикулит не разыгрался.

Неожиданно между деревьями показался свет.

— Ко-остик! — призывала Екатерина Денисовна. — Е-елисей! Аполли-инари-и-ич!

К ней присоединился другой голос.

— Ели-и-сей!.. Кон-стан-тин Па-алыч!

— Мама, — сказала Катя. — Я пойду, а вы после. — И нырнула в темноту между стволами.

Свет приближался. Константин Павлович тяжело поднялся с земли и отодвинулся за куст. Мимо, совсем рядом, прошли Мила, жена Старцева и Олег.

— Не представляю, куда они могли подеваться! — говорила Ирина Поскребкина. — Просто не знаю, что подумать. Ну, не торчать же ночью в лесу или овраге! Смешно! Главное, столько всякого хулиганства вокруг!

— Может, зашли к кому, сидят, — сказал Олег.

— К кому? К кому зашли? — накинулась на него жена писателя. — У Щавелевых я была, у Тимойкиных была! А больше тут не к кому!

Олег не ответил.

— Если бы вздумали идти купаться — Костя взял бы плавки, — произнесла Мила.

Потом голоса стихли.

Константин Павлович направился в ту сторону, откуда явился разыскивающий его отряд. Но вместо того, чтобы выйти к калитке, он уперлся в чей-то чужой забор. Двинулся было вдоль забора, но тут из глубины сада явилась собака и принялась надрывно брехать. Пришлось отступить в глубь рощи. Константин Павлович отлично помнил, что вся роща-то была не больше их московского двора, днем она насквозь просвечивала. Заблудиться было совершенно невысказано — с одной стороны овраг, с другой обрыв к реке. Их дача — вторая или третья от края. «Запутал в трех соснах», — подумал Константин Павлович, стараясь угадать верное направление. Между тем сделалось так холодно, что Константин Павлович начал чихать. «Не хватало только заболеть здесь», — подумал он уже со злостью.

## XV

После обеда Елисей Аполлинарьевич отдохнул, несколько успокоился и принялся в третий раз переписывать злосчастную сцену. Теперь корову на заготпункт отводил не Степан, а сама Аксинья. Немного жалоб, слез — действия Ларионова в конце концов оказались неправильными, это каким-то образом должно ощущаться. А Степан пусть играет на своей гармонии в другое время и в другом месте. Ни к чему эти акценты.

Елисей Аполлинарьевич кончил писать, перечел и остался доволен. Одно только по-прежнему омрачало ему настроение — воспоминание о пропавших очках Екатерины Денисовны. Очень неловко получилось.

Он один не купался, сидел возле вещей и надо же так случиться! — не уследил! Унес кто-то из-под носа. Константин Павлович вправе Бог знает что подумать.

Под вечер Елисей Аполлинарьевич накинул пиджак и отправился на пляж. Вдруг очки не украдены, а просто зарылись в песок. Может, еще удастся их найти. Как было бы прекрасно...

Старцев торопливым шагом прошел по плотине и спустился на безлюдный пляж. Он принялся прочесывать песок под ивой, один раз наткнулся на плоский камень, отбросил его в сторону, потом в ладонь ему скользнул какой-то теплый кружочек. Елисей Аполлинарьевич решил, что это тоже камушек, хотел выпустить, но кружок блеснул. Монетка. Десять копеек. Елисей Аполлинарьевич сунул ее в карман и опять опустил руки в песок. Ему попались еще два гривенника. «Очевидно, у кого-то из брюк высypались», — подумал Старцев, отправляя их в карман. Но очков не было. Елисей Аполлинарьевич поднялся и стал ходить, вглядываясь в песок под ногами. Незаметно он очутился возле самой воды. На ровном золотистом дне темнел какой-то круглый камень. Присмотревшись, Старцев заметил и дужку. Очки! Наверно, Екатерина Денисовна пошла в них купаться и не почувствовала, как они соскочили. Елисей Аполлинарьевич разулся, закатал брюки и вошел в теплую воду. Но достать очки оказалось не так просто — рука не дотягивалась. Пришлось выйти на берег и раздеться. Сначала Елисей Аполлинарьевич хотел лезть в воду в трусах, но, оглядевшись по сторонам и не заметив нигде ни души, скинул и их — чтобы не идти обратно в мокром. Он потихоньку подошел к тому месту, где лежали очки, сунул голову в воду, но все равно не дотянулся. Попробовал подковырнуть очки ногой, но только замутил воду. Попытался нырнуть, однако вода тотчас выпихнула его наверх. Тут Елисея Аполлинарьевича осенило: надо взять в руку камень, тогда

можно будет достать дно. Елисей Аполлинарьевич снова вышел на берег и принялся искать камень. Но ничего подходящего не попадалось. А над рекой сгустились сумерки. Надо было спешить. Елисей Аполлинарьевич взял рубаху, связал рукава и в получившийся мешок насыпал песку. Потом он закрутил потуже подол, зашел в воду, отыскал нужное место и нырнул. Груз потянул его ко дну, он повис в воде вверх ногами и принялся судорожно шарить свободной рукой по легкому, убегающему от прикосновения песку. Наконец, подцепил очки и, выпустив рубаху, вынырнул. От напряжения у него потемнело в глазах. Он выбрался на берег и с трудом отдышался. Но нужно было еще вытащить рубаху — не бросать же ее. Елисей Аполлинарьевич снова зашел в реку и принялся пинать рубаху ногами. И так и эдак старался, но она точно приклеилась ко дну. Чуть ли не целый час он бился, пока не вытолкал ее на более мелкое место, где можно было достать рукой. Вытряхнув песок, Старцев прополоскал рубаху и выкрутил. Однако надеть ее в таком виде было невозможно, пришлось накинуть пиджак прямо поверх майки. Когда Елисей Аполлинарьевич взошел на плотину, было уже совсем темно. Поужному роскошные звезды раскинулись на небе.

Возле дома Старцев повстречался с дочерью.

— Это ты, папа? — спросила Катенька своим детским голоском и указала на мокрую рубаху, свисавшую у Елисея Аполлинарьевича с плеча: — Что это у тебя?

— Это так... — заметил отец.

— Возможно, мне в Москве позвонит Константин Павлович.

— Константин Павлович? Тебе? Зачем? — удивился Елисей Аполлинарьевич, но вдруг осекся, что-то поняв. Помолчал, потер лоб. — Смотри, Катерина, будь осторожна. Это всё не так просто.

— Очень просто, папа, — ответила Катя. — Тут тебя мама искала. — С этими словами она скрылась в калитке.

Елисей Аполлинарьевич, ошарашенный, остался стоять у забора.

— Елисей Аполлинарьевич! Это вы! Наконец-то! — услышал он голос Екатерины Денисовны. — Мы тут буквально с ног сбились. А где же Константин Павлович?

— Константин Павлович?.. — повторил Старцев задумчиво. — Я полагаю, он пошел домой... — При этом он машинально вертел что-то в руках.

— Что с вами? — спросила Екатерина Денисовна и вдруг заметила свои очки. — Простите! Но это же... — дальше она не могла говорить от охватившего ее возмущения. — Это же...

— Извините... Спокойной ночи... — сказал Елисей Аполлинарьевич и юркнул в калитку, унося с собой очки.

## XVI

Утром, во время завтрака, Катенька потихоньку скользнула в отцовский кабинет. Заглянула на книжную полку, осмотрела стол, выдвинула ящик и увидела очки Екатерины Денисовны. Сунула их себе в карман, ящик задвинула и вернулась в свою комнатку в мансарде. Тут она уселась у окошка и подперла голову рукой.

Почти тотчас лестница застонала под бабушкиными шагами. Старый номер. Делает вид, что ей что-то понадобилось в чуланчике. Щелкает замком, скрипит дверцами... Ни черта ей там не нужно. Хочется заглянуть в комнату и больше ничего.

— Почему ты не идешь на пляж? — спросила бабушка, засовывая голову в дверь.

— У меня голова болит, — ответила Катя, не оборачиваясь.

— Прими анальгин и ляг.

— Бабушка, я ведь не вмешиваюсь в твои дела.

Дверь закрылась. Катя слышала, как старуха спустилась вниз и стала там что-то говорить. Через минуту в комнату вошла мать.

— Катя, тебе что, нездоровится? — спросила она встревоженно.

— Нет, со мной все в порядке.

— Наверно, тебе лучше лечь.

— Нет, мне хорошо.

— Почему ты не идешь купаться?

— Мне нужно побыть одной.

— Ну, как хочешь... Мы уходим. Может, ты придешь попозже?

— Не знаю.

Наконец, Катеньку оставили в покое. Часа полтора она просидела не шелохнувшись у окна.

Из дома напротив с полотенцем на плече вышла Екатерина Денисовна. Катя подождала еще несколько минут и спустилась вниз. Из кабинета выглянул Елисей Аполлинарьевич.

— Катерина, ты куда?

— Константин Павлович хочет меня видеть.

— Но... Всё-таки... — Елисей Аполлинарьевич посмотрел дочери в глаза. — Не задерживайся там...

— Хорошо, папа.

— Передавай от меня привет...

— Обязательно передам.

Старцев вернулся за письменный стол, но нервничал и никак не мог сосредоточиться на работе.

Катя перешла через улицу, миновала палисадник и толкнула незапертую дверь. В первой комнате никого не было. Она прошла в спальню.

Константин Павлович лежал. Он так-таки простудился в этой несчастной роще.

— Катенька, это ты? — сказал он обрадованно. — Иди сюда. Я как раз о тебе думал. Как хорошо, что ты зашла. Посиди со мной немножко. Ну, иди же, не бойся.

— А вдруг Екатерина Денисовна вернется?

— Она не скоро придет, — заверил Константин Павлович. — Ушла купаться. Я завтра, вероятно, уеду. Я бы сегодня уехал, да что-то неважно себя чувствую. Дай мне твой телефон, я тебе позвоню в Москве.

Катя назвала номер.

— А если кто-нибудь из твоих подойдет? — поинтересовался Константин Павлович.

— Телефон стоит в кабинете отца, он меня зовет.

— Вот как... — протянул Константин Павлович. Его не особенно устраивало, чтобы Елисей Аполлинарьевич оказался в курсе его сердечных дел, однако вслух он своих соображений не высказал. Вслух он сказал: — Ты такая милая... — и притянул Катю к себе.

В это время отворилась дверь и вошла Екатерина Денисовна. Сердце как будто подсказало ей, что следует вернуться. Дойдя до обрыва, она почувствовала какую-то слабость, представила, как потом придется лезть в гору — по эдакой жаре — и расхотелось купаться. Решила повернуть обратно.

— Ах, вот как! — сказала она, увидев Катю в объятиях Константина Павловича. — Замечательно! Ну, что же — желаю счастья!

Катя поднялась, одернула юбку, потупилась и вытащила из кармана очки.

— Вот. Папа просил передать вам.

Екатерина Денисовна сверкнула глазами, с минуту смотрела на протянутые ей очки и всё-таки взяла.

— До свиданья, — сказала Катя и вышла.

— Тварь! Шлюха! — полетело ей вслед. — Какая наглость — не успела я выйти за дверь!..

Константин Павлович поднялся с постели и принялся складывать свой чемодан. Екатерина Денисовна молчала. Константин Павлович вышел на крыльцо, позвал Олега. Тот не откликнулся, вероятно, ушел купаться. Пришлось вернуться в дом.

Екатерина Денисовна сидела за столом, плакала и вытирала глаза платочком.

— Всё, всё отдала! Пожертвовала семьей, мужем! Ради чего? Чтобы он променял меня на первую попавшуюся девку! И где — в моем собственном доме!

— Перестань! — сказал Константин Павлович. — Девочка, ребенок. Зашла отдать очки. А у тебя какое-то болезненное воображение! Вместо того, чтобы сказать спасибо...

Екатерина Денисовна не согласилась с ним.

— Девочка, ребенок! Малолетняя проститутка! Дрянь!

Константин Павлович вздохнул и снова вышел на крыльцо. Куда этот Олег запропастился, чёрт бы его подрал! Оглядевшись по сторонам, он вдруг заметил знакомую красную рубаху в соседнем саду. Константин Павлович подошел к забору.

— Олег! Что ты тут делаешь?

— А так!.. Морковка тут сладкая — прелесть. Не хотите?

Константин Павлович оттолкнул протянутый хвостик.

— Как не стыдно, ей-Богу! Взрослый мужик — и лазаешь по чужим огородам. Давай, поехали!

Олег перемахнул через забор.

— Захвати там мой чемодан, — сказал Константин Павлович.

Олег вытащил чемодан.

— А Екатерина Денисовна? Она... не едет?

— Не едет. Давай.

Машина выехала на дорогу и покатила, оставляя дымовую завесу пыли. Сразу за деревней пришлось сбавить скорость, чтобы на ухабах не биться головой о крышу кабины. Легкий ветерок нагнал машину, окутал вонючей пылью. Константин Павлович поспешил поднять стекло. Он молча страдал от духоты, ежеминутно вытирал голову носовым платком и заботился лишь, как бы плотнее прилечь к сидению и не подпрыгивать при каждом толчке.

Вдруг Олег затормозил, вышел из машины, поднял капот и скрылся под ним.

— В чем дело? — закричал Константин Павлович, высовываясь в дверь.

— Так-так-так... — донеслось в ответ. — Вот оно что...

Оставалось ждать. Через некоторое время Олег вернулся и заглушил мотор.

— Что случилось?

Олег мотнул головой, вздохнул.

— Кто ж его знал... Кронштейн генератора полетел...

— А запасного нет?

— В том-то и дело, что нет.

Константин Павлович произнес несколько слов.

— О чем же ты думал?! Ты же знал, куда едем!

— Да ведь, так сказать, первый раз такая поломка, — оправдывался Олег. — Я вот генератор новый с собой вожу, а чтобы кронштейн сломался — никогда не бывало...

— Что же теперь делать?

— Тут мастерские какие-то есть. Попробуем добраться. Может, удастся сварить. Сейчас двигатель остынет... Потихонечку дотянем... Это, верно, когда я сюда ехал; там такое место есть, говорят, весной снег таял — размыло; бревно положили, ну, грузовики, ничего, проскакивают, а меня как тряхануло! Я сразу вылез, посмотрел, вроде, ничего, а он, видно,

тогда и треснул. А после уж вовсе... То-то я гляжу — вода кипит...

Константин Павлович и сам кипел.

Развернулись и поползли обратно. Расспросили у какой-то женщины про мастерские, кое-как добрались, остановились у ворот. Олег окинул взглядом заваленный ржавым металлоломом двор. Людей не было видно.

— Пойду, спрошу, — сказал Олег, направляясь в глубь двора, к кирпичному зданию мастерских.

Но не успел он дойти до двери, как оттуда вышел старичок и крикнул:

— Тебе кого, милоч?

— Машина у нас сломалась, деталь сварить нужно, — объяснил Олег.

— А... Ишь ты, беда какая, — посочувствовал старик.

— К кому тут обратиться-то?

— А... — снова протянул старик. — Лёшке покажи. Он скажет.

— А где он?

— Нынче нету. Завтра приходи, Лёшка сделает.

— Да нам сегодня нужно!

— Сегодня всё — нету никого.

— Рано же еще, — удивился Олег. — Три часа. Даже трех нету.

— Ну так и что. Илья сегодня.

— Какой Илья? — не понял Олег.

— Праздник. Илья, — объяснил старик. — Уж с обеда не работают.

— А ты не можешь?

Старик захихикал.

— Чего я тебе сварю? Я — сторож. Вот сейчас ворота запру да пойду. — Он направился к выходу, Олег побрел за ним.

— Ну что? — спросил Константин Павлович.

— Придется остаться до завтра, — объявил

Олег. — Сегодня они не работают. Илью празднуют.

— Что значит, не работают? Какого Илью? Чёрт бы их всех драл! Безобразия! Издевательство какое-то!

Старик затворил одну створку ворот и пошел за другой.

— погоди ты закрывать! — прикрикнул Константин Павлович. — Нам нужен сварщик. Понимаешь?

— Так нету его. Никого нету. Завтра приходите.

— Мне сегодня надо. Где он живет? Мы его разыщем. Не закрывай, слышишь!

Старик пожал плечами, но послушался, отпустил ворота и объяснил, где живет Лёшка Евдохин.

— Дотянем? — спросил Константин Павлович у Олега.

— Должны дотянуть.

— А ты не запирай, жди нас, — приказал Константин Павлович сторожу. — Мы сейчас вернемся.

Отыскали дом Евдохиных. Константин Павлович хотел послать за Лёшкой Олега, но потом решил, что сам быстрее добьется толку.

Еще из сеней он услышал веселые крики и звон посуды. В комнате за столом сидело человек пятнадцать мужиков, баб и детей. Заметив Константина Павловича, они все повернули головы и примолкли.

— Мне нужен Алексей Евдохин, — сказал Константин Павлович.

— Я Евдохин, — признался Лёшка несколько встревоженно и поднялся из-за стола.

— У меня сломалась машина. Нужно сварить деталь.

— Так ведь праздник нынче, — замялся Лёшка.

— Я вам заплачу.

— Заплачу!.. Да разве в том дело!

— А что ж, что праздник, — перебила мужа Нинка. — Ежели человеку нужно. Может, он спешит. Ма-

ло ли — дела какие. И сходишь, сварись, чего тебе делается!.. А вы проходите, — обратилась она к Константину Павловичу. — Сейчас он.

Собравшиеся за столом засуетились и освободили стул.

— Садитесь, пожалуйста...

— Садитесь, садитесь, — уговаривала Нинка. — Не смотрите, что мы тут... У нас нынче праздник.

— Спасибо, я тороплюсь, — сказал Константин Павлович.

— Ну и что, что торопитесь. А всё равно ему переодеться надо — не пойдет ведь он в хорошем.

Константина Павловича усадили.

— А мы тут покамест выпьем одну за нашего именинника, — заявила Нинка. — И ты, Лёшка, погоди, выпей. Выпей, а после пойдешь.

Константину Павловичу тоже подсунули стаканчик.

— Ну, дорогой товарищ, не знаем, как вас звать-величать, и вы тоже с нами, — потребовала Нинка. — Не обижайте!

— Я не пью, — сказал Константин Павлович.

— Как это не пьете!.. — Лёшка, уже поднесший было стакан к губам, снова опустил его на стол. — Тогда и мы не будем.

— И мы не будем! — подхватили несколько голосов. — Как это не выпить? Разве можно? Тем более, на дорогу!

— Уж ежели вы к нам зашли, так вы уж нас не обижайте, — затянула Нинка, — тем более, праздник сегодня.

— Я вообще не пью, — объяснял Константин Павлович. — У меня сердце больное. И потом, я сегодня должен быть в Москве.

— А она для сердца полезная! — объявил кто-то за столом.

Другие засмеялись.

— По одной выпьем и поедете. От одной-то ничего не делается, небось.

— А ежели вы с нами выпить брезгуете, так я и варить не пойду! — осмелев сказал Лёшка.

Константин Павлович понял, что конца этому не будет. Он поднял и пригубил предложенный ему стакан. Лишь бы выбраться отсюда, из этого дома, и вообще из этого проклятого места! Мерзкий запах самогона ударил ему в нос.

— Пей-до-дна, пей-до-дна, пей-до-дна! — Нинка подперла его руку своей могучей ладонью и не отпустила, пока не убедилась, что он опорожнил стакан. Тогда она стала совать ему ломтик хлеба. — Закуси, милый, закуси скорей! Ух!

— Вот это по-нашему! — похвалил Лёшка.

— Хорош коньячок! — одобрили гости.

— КВН! Крепкий, вонючий, недорогой!

Константин Павлович почувствовал, как самогон ударил ему в голову. Он вспомнил, что не обедал сегодня. Нинка подсунула ему вареной картошки.

— Закусывай, закусывай. Селедочка вон. Ваша, московская. Клавка ездила, привезла.

Константин Павлович съел и селетки.

В комнате появился Олег, которому наскучило ждать в машине. Его тоже усадили. Константину Павловичу снова налили. Он отказывался, но потом выпил. Кто-то затянул: «Среди долины ровныя». Константин Павлович заметил, что раскачивается в такт песне, и никак не мог остановиться. Нинка обняла его за плечи, и они выпили вместе. Олег с Лёшкой беседовали о машине. Время от времени Константин Павлович ловил отдельные фразы.

— Это ежели такая поломка, то, конечно, — говорил Лёшка.

— Полтора года на ней ездим, — объяснял Олег. — Ничего машина, крепкая... Но против «Чай-

ки» ерунда. В четвертом квартале «Чайку» получим. Вот это танк!..

— Точно, танк! Я ее в Москве видел. Как дьявол несется!

— Под такую попадешь — пенсии не надо.

— Ой, Коська, какая ж я пьяная!.. — сетовала Нинка, ложась головой на плечо Константину Павловичу. И спохватившись, добавляла: — Ты, небось, в Москве большой человек, ученый... А нынче у нас праздник... Пей, Коська, одна живем!..

Снова пили. Потом Константин Павлович выходил во двор, было совсем темно. Он вернулся в избу.

## XVII

Иван вышел из мастерских, постоял у ворот и повернул к реке. Здесь он дождался парома, взял у Григория бутылку и выпил ее сразу, стакан за стаканом, до дна. Тут же на пароме он свалился и уснул. Дед покачал головой и кряхтя оттащил его в угол. Подложил под голову скрученный в кольца канат и оставил отдыхать — путешествовать с одного берега на другой. Наконец, солнышко село, Григорий растолкал Ивана и велел идти домой. Иван не желал просыпаться, зло отмахивался, но Григорий не отставал, пока тот не убрался с парома.

Во многих домах гуляли по случаю Ильи, из распахнутых окон неслись крики и песни. Иван зашел к одному свояку, потом к другому, оба хозяина угостили его, так что он уже вовсе не помнил, как добрался до своей избы и сразу, в одежде и в сапогах, повалился на кровать.

## XVIII

Под вечер Михаил ходил к реке, искупался, любовался закатом. Вернувшись, постоял перед клубом, поглядел на местных девчат. Четверо парней отесняли за угол двух солдатиков. Назревала драка. Михаил ушел. Дома он поел каши и лег спать. Он ждал, что снова услышит овечью возню за стеной, но всё было тихо и он незаметно уснул. Спал он как-то странно. Кровать под ним словно покачивалась и плыла куда-то. Снов он не видел, зато отчетливо различал музыку, долетавшую из клуба, голоса на улице и еще какие-то звуки. Время будто остановилось... Растаяло... Михаил все плыл и плыл — легко и радостно...

Вдруг он проснулся и открыл глаза. Сквозь белую занавеску проникал рассвет. Михаил встал, накинул на плечи куртку и вышел на крыльцо.

Он увидел тихое бледное небо. Опустил глаза и увидел Оку. Вернее, левый ее берег, потому что правый скрывался за обрывом. Розовый туман парил над рекой и странное видение вставало в тумане.

За Окой, в зеленой траве, лежало множество стариц. Каждая — синее озеро, и возле каждой подымался храм. Сияли купола, кресты, лучились иконы на фасадах. Нежные пальцы придерживали Младенца со светлым ликом и глубокими глазами. В синей спокойной воде лежали отражения храмов. Темная стена леса стояла позади самого дальнего храма. Но не было дали. И лес, и Ока, и прозрачные старицы, и улыбка Марии — все было ясно и доступно взгляду.

Осторожно, стараясь не сморгнуть чудесной картины, Михаил шагнул с крыльца и пошел к обрыву. Тихий звон долетал с того берега.

Вдруг взрыв потряс пределы.

Туман дрогнул и потух.

Над землей стоял гул. Михаил поднял голову к небу — реактивный самолет чертил белую дугу по

синему своду. Михаил постоял, посмотрел, потом спустился к реке, миновал плотину, пляж и вышел на луг. Трава почти везде была скошена. Только возле самой старицы росла пожелтевшая уже осока. Кроме этой осоки не было ничего — даже следующей старицы нельзя было разглядеть. Под ногами захлюпало. Михаил отступил. Поднялось солнце, и вода заблестела расплавленным золотом. Кое-где торчали кочки, покрытые ядовито-зеленой травой.

Михаил повернул обратно и напрямик вышел к берегу. Тут он зашлепал прямо по воде, переступая через водоросли и иногда наклоняясь поднять какую-нибудь ракушку. Неожиданно он чуть не наткнулся на девушку. Она слегка улыбалась и в упор смотрела на Михаила. Михаил смутился, но не настолько, чтобы не разглядеть светлые короткие волосы, такие же светлые бровки, бледно-голубые глаза, курносый носик и розовые мягкие губы.

— Вот ты где, — сказала девушка так, будто они были знакомы и договорились встретиться тут. Голос у нее оказался совсем детский. — Я тебя видела вчера на пляже, — добавила она немного погодя.

— Возможно, — согласился Михаил.

— Я тебе нравлюсь? — спросила девушка спокойно, без всякого выражения на лице.

Михаил усмехнулся.

— Не знаю.

— Хочешь, я тебе покажу источник?

— Ну, покажи.

Они пошли по берегу рядышком.

## XIX

Константин Павлович чувствовал себя ужасно. Он открыл глаза и увидел, что лежит рядом с Олегом на каком-то диване. Спустил ноги на пол, уселся, окинул

взглядом комнату. Прямо на полу спали люди — мужчины и женщины. На столе красовались остатки вчерашнего пиршества — пустые бутылки, стаканы, недоеденная картошка, огрызки огурцов. Константин Павлович толкнул Олега, тот сразу вскинулся и захлопал глазами.

— Пошли, — сказал Константин Павлович.

Олег отыскал среди спящих Лёшку, растолкал его и напомнил о его обещании сварить кронштейн. Лёшка охотно поднялся и в сопровождении Олега направился в мастерские. По дороге он выдвинул новый план — вместо того, чтобы варить старый кронштейн, выточить другой.

— Мне ведь только до Москвы доехать, — объяснил Олег. — Там уж мы что хочешь достанем.

— Да ведь ты пойми, — настаивал Лёшка, — сварить я тебе сварю, а что толку? Новую надо.

— Новую! Новую — сталь нужна.

— Найдем сталь! Что мы — не люди? Думаешь, только у вас в Москве дела делают, а тут лаптем щи хлебают? Сделаем, лучше новой будет. — Тут он заметил кого-то из своих товарищей и окликнул: — Коль, иди-ка погляди. Надо сделать.

Вдвоем они принялись обсуждать, как лучше поступить с поломанным кронштейном. Олег вернулся к машине — успокоить Константина Павловича.

— Сейчас будет.

Константин Павлович ничего не ответил. Почему-то ему стало ясно, что до Москвы им никогда не добраться. И даже само это ощущение не показалось ему новым. Он испугался глупого предчувствия. «Отдыхать надо. Устал я...»

Наконец, деталь была готова. Но еще час ушел на то, чтобы установить кронштейн на место. Константин Павлович заметил, что Олег успел опохмелиться.

— Ты что, не знаешь, что тебе ехать? — возмутился он.

— А что, Константин Палыч? Я ничего.

— Не прикидывайся, пожалуйста.

— Ей-Богу, ничего, ни грамма! — уверял Олег и на всякий случай помахал ладонью у рта. — Это со вчерашнего...

Спорить было бессмысленно.

— Хорошо, поехали, — сказал Константин Павлович.

«Волга» тронулась, но не успела она миновать свинарник, как небо набрякло, потемнело и что-то в нем затрещало.

— Этого только не хватало, — произнес Константин Павлович.

Тучу прорезала молния, зарокотал гром и через минуту на дорогу обрушился ливень. Еще с километр машина кое-как проволоклась по размокающей глине, а потом забуксовала в одной из колдобин. Константин Павлович собственной персоной вылез и принялся подталкивать. Мотор ревел, но колесо качалось в яме как в люльке и не думало вылазить.

— Подложить бы чего, — сказал Олег.

Но место кругом было совершенно голое — ни деревца, ни кустика.

— Смотреть надо, куда едешь, — сказал Константин Павлович.

— Так ведь дождь — стекла застит, а дорога — сами видите...

— Наглотался с утра самогона, вот и застит. Свинья!

Олег отошел в сторонку, будто высматривая что-то, и забормотал:

— Свинья!.. Сам свинья! Насмотрелся я на тебя, не бойся. Седьмой год вожу... Ангелок какой нашелся. Садись за руль да поезжай, если такой умный...

Константин Павлович предоставил Олегу действовать, а сам, вымокший и заляпанный грязью, уселся обратно в кабину. На счастье, от села показался трак-

тор. Тракторист подъехал, остановился и, распахнув дверцу своей будочки, прыгнул на землю. Ни слова ни говоря, он подцепил «Волгу» тросом, рванул и вытащил. Потом, стараясь перекричать шум ливня, посоветовал:

— Нынче ехать не мечтай! Это тут ничего дорога, а дальше и не думай — в сухую погоду всю душу вытрясет!

Олег эту дорогу помнил.

— Езжай, — сказал Константин Павлович.

— Невозможно, Константин Палыч, — взмолился Олег. — Смотрите, что делается...

— Другой дороги нет? — закричал Константин Павлович трактористу, взобравшемуся уже на свое место.

— Есть, низом! Да всё одно не проедете!

— Попробуем, — сказал Константин Павлович с мрачной настойчивостью.

Трактор заурчал и покатил дальше. «Волга» развернулась и, ныряя из колдобины в колдобину, двинулась обратно.

За шумом дождя Екатерине Денисовне почудился звук мотора. Она выскочила на крыльцо, увидела знакомую «Волгу» и даже различила за стеклом голову Константина Павловича. Но вместо того, чтобы въехать во двор или хотя бы остановиться, машина проскочила мимо. Екатерина Денисовна кинулась следом, вцепилась в ручку и забарабанила по стеклу.

— Костя! Олег! Костя!

Константин Павлович удерживал дверцу изнутри.

— Остановитесь! Костя! Ты с ума сошел! — кричала Екатерина Денисовна, стараясь не отстать.

Вдруг она поскользнулась и упала, едва не угодив под заднее колесо.

— Ну хорошо... — прошептала Екатерина Денисовна, лежа в холодной луже.

Машина укатила.

Дорога спускалась в овраг. Олег затормозил.

— Опасно, Константин Палыч. Нельзя...

Константин Павлович ухватил его за плечо.

— Давай, давай! Ничего, съедем. Потихоньку.

Давай!

Возможно, они и съехали бы. Но посреди дороги вдруг оказалась собачонка. Щенок. Промокший весь, с обвислыми ушами. Олег невольно крутанул руль. «Волга» развернулась, точно собираясь перегородить овраг плотиной, потом перевернулась на бок, а затем и на крышу. И в таком положении заскользила вниз.

Олег кое-как выбрался из покореженной машины и хотел вытащить Константина Павловича. Тот заорал от боли. Тогда Олег оставил его и, прихрамывая, отправился в село.

Дождь продолжался. Постепенно вокруг перевернутой машины с Константином Павловичем внутри собрался народ и принялся рассуждать о случившемся.

— Понесла нелегкая! Нешто в такую сырость ездят! Верхом-то, и то не проедешь, не то что здесь...

— Из-за собачонки всё. Объехать он ее хотел...

Щенок лежал тут же. Машина пристукнула его, хоть и не раздавила.

Подошла Екатерина Денисовна. Перед ней расступились. Увидев Константина Павловича в таком жалком виде, она захлопотала, послав кого-то за фельдшером, велела даже вызвать Старцева, совершенно забыла все свои обиды, и оказалось, что во всем виноват один Олег.

Кто-то вспомнил, что Иван давеча спрашивал про собаку. Эта, небось, и есть... Нашли Ивана. Когда он спускался в овраг, ноги у него разъезжались — то ли оттого, что дорогу развезло, то ли от того, что успел опохмелиться... Иван молча подобрал убитую собаку и понес ее, как ребенка, на руках.

Дома он опустил щенка на пол, а сам сел напротив на табурет и задумался. Мало ли, много ли он так

просидел, неизвестно. Наконец он встал, перешагнув через щенка и пошел на огород. В баню, которую в свое время сообща выстроили его отец и отец Трофима. Баней давно не пользовались, валялся в ней всякий хлам и стояла большая канистра с бензином. Иван, надрываясь, выволок канистру и поволок к дому. Канистра, однако, была слишком тяжелая. Иван оставил ее, сходил за ведром, отлил бензину и полез с ним на чердак. Для начала он принялся поливать ту самую крышу, которую позавчера еще собирался чинить. Потоки воды смывали бензин, но Иван все плескал и плескал, пока ведро не опустело. Тогда он спустился вниз и снова пошел к канистре. Полил и чердак, и двор, и избу. Собирался окатить комод, под которым Анна прятала свои сбережения, но тут увидел фотографию — они с Анной в день свадьбы. На снимке Иван был в белой рубашке и черном пиджаке, и на лацкане красовались медали. Вот она — самая первая — за Бессарабию. Привезли целый мешок, точно шишки из лесу, и раздали всем подряд. А что с финнами дрался, не дали. Так запомнилось... Иван взял фотографию в руки и долго глядел, точно не узнавая. Наглядевшись, плюнул на снимок, швырнул его и окатил комод бензином. Остаток плеснул на щенка. Потом он огляделся, заметил газовую плитку, вышел наружу, отвернул до отказа вентиль, вернулся в кухню и перерезал шланг. Затем Иван приладил к крюку над лампочкой веревку, на которой Анна развешивала белье, сделал петлю и поставил лавку. Нащупал в кармане спички, но прежде решил задвинуть дверь на засов. Это у него не сразу получилось — руки тряслись, и Иван никак не мог их успокоить. Наконец, он заложил засов, поджег занавески на окнах, подзоры на кровати и полез на лавку.

— Пожил, — сказал он вслух. — Хватит.

Натянув петлю на шею, он отпихнул лавку ногой и повис.

## XX

Трофим спозаранку вышел из дому с вилами и граблями на плече. На улице он повстречал Ивана, вовсе опухшего и дурного после вчерашнего праздника.

— Не видал моей собаки? — спросил Иван.

— Разве у тебя собака есть? — удивился Трофим.

— Была. Щенок. Третьего дня купил. Серенький такой, в пятнышках...

— Не видел. — Трофим зашагал дальше.

Больше до самой реки он не встретил ни души. На пароме перекинулся двумя словами с Григорием. На лугу тоже не было никого. Все отсыпáлись.

Трофим принялся за дело. Он уже обдергивал готовенький стог, когда над головой у него загрохотало. Он вспомнил, что с самого утра нынче погода показалась ему ненадежной. Хорошо, что управился ко времени. Окинув взглядом иссиня-черное небо, Трофим понял, что гроза предстоит нешуточная. Он разгреб сено, устроил себе нору в стогу и заполз в нее. Сидеть было душисто и уютно, и Трофим незаметно, под шум ливня, задремал. Через некоторое время он выглянул — лило по-прежнему. Трофим снова вздремнул. Наконец снаружи как будто просветлело. Трофим выглянул и увидел на горе над селом зарево.

## XXI

Катя привела Михаила к источнику возле церкви. Они напились холодной, чуть сладковатой воды и уселись на мягкой траве.

— Ты любишь стихи? — спросила Катя.

— Смотря какие...

— Хорошие.

В небе что-то заурчало, заворочалось и, наконец, загрохотало вовсю. Михаил взглянул ввысь и поднялся.

— Надо идти. Сейчас будет гроза.

Катя сидела неподвижно, остановившимся взглядом смотрела в ручей и молчала.

— Вставай, — сказал Михаил. — Пойдем... А то промокнем...

— Спрячемся в часовне, — ответила Катя, но не двинулась с места.

— Как хочешь. Я пойду, — решил Михаил.

Катя проворно поднялась, взяла его за руку и потащила за собой. Едва они сделали несколько шагов, как хлынул ливень.

В часовне не было ни стекол, ни двери, ветер прохватывал ее насквозь и заносил внутрь ледяные брызги.

— Обними меня, — сказала Катя, придвигаясь.

Сквозь мокрую рубашку Михаил почувствовал ее теплое мягкое тело. Вдруг он услышал взрыв и замер.

— Не бойся, это самолет, — прошептала Катя, заглядывая ему в лицо, обхватила руками за шею и поцеловала.

Михаил отвел от себя ее руки, ступил в сторону и почувствовал, как что-то затрещало у него под ногой. Он глянул — в полу зияло квадратное отверстие. Когда-то оно было прикрыто деревянной решеткой, но жерди прогнили, провалились, осталась одна рама.

— Что это, подземелье? — спросил Михаил.

Катя пожала плечами.

— Не знаю... Может, могила. Хочешь, спустимся, посмотрим?

Михаил поглядел в черную яму, но спускаться не захотел.

Катя засунула руки в карманы и стояла, опустив глаза. Гроза продолжалась. Вспыхивали молнии, грохотал гром. Вдруг из ливня в часовню нырнула старушка. Черное платье и белый платочек прилипли к тощему телу.

— Здравствуйте, деточки, — поклонилась старушка. — Вот ведь дождик какой Бог послал. А я нынче в церковь собралась. Издалека иду-то, от Высокого, тут он меня и застал. Дай хоть думаю, схоронюсь...

— Я пойду, — сказал Михаил, вышел наружу и стал карабкаться наверх по размокшему склону оврага. Катя несколько минут смотрела ему в спину, а потом и сама отправилась домой. Старуха осталась в часовне одна, но продолжала говорить:

— Он нужен, дождик-то. Такая сушь, не дай Господь. Погорело всё. Козе и то ущипнуть нечего...

Дома Катя скинула мокрое платье, залезла в постель, вытащила из-под подушки общую тетрадь, карандаш и принялась строчить:

Прими меня, прими,  
Как брат, в свою обитель.  
Брезгливо не гони,  
Суровый небожитель.

Вериги мне надень  
На тело и на душу.  
В великий светлый день  
Обета не нарушу...

И еще четыре строфы.

Потом она захлопнула тетрадку, разыскала в постели ночную рубашку, надела и спустилась вниз. Младшая сестренка сидела в родительской спальне за пианино и трудилась над какой-то пьесой. Елисей Аполлинарьевич бесцельно перемещался из комнаты в комнату и бросал тоскливые взгляды в окна. Увидев Катю, он оживился.

— Где ты была? Такая гроза!

— Я ведь просила никогда не волноваться из-за меня, — ответила Катя смиренно.

— Ты даже не знаешь, что тут произошло!..

— Что? — терпеливо откликнулась Катя.

Елисей Аполлинарьевич поведал про несчастье с Константином Павловичем.

— Да, жалко, — согласилась Катя. — Ты думаешь, это может ему повредить? Я имею в виду его положение.

— Ах, Катя, о чем ты говоришь! Еще неизвестно, что с ним. Может, он вообще останется инвалидом. Ужасная история. Просто ужасная!

— Хочешь новые стихи? — спросила Катя раскрывая свою тетрадь.

— Какие стихи! — возмутился Елисей Аполлинарьевич. — Мне сейчас не до стихов...

— Как хочешь, — Катя захлопнула тетрадку и пожала плечами.

Она вернулась к себе в комнату и написала еще одно стихотворение.

Трофим услышал взрыв, когда взбирался на плотину. «Газ, — догадался он. — Пропали!» Он вскарабкался на обрыв, не помня себя пронесся по улице и оказался перед пылающим Ивановым домом. Бросился к своему баллону, но его уже не было.

Танюшка, едва увидела огонь, бегом кинулась к Антонине Прокофьевне, вывела ее, оставила стоять посреди улицы, а сама кинулась обратно и ухватилась за баллон. Но сколько ни мучалась, сдвинуть не могла. На счастье мимо пробежала Марья.

— Тетенька Марья, не дай пропасть, помоги, — завопила Татьяна.

Марья свернула с дороги, подбежала и с разбегу сдвинула баллон. Вдвоем они выкатили его на улицу. Марья помчалась к себе, но в это время на помощь к Тане уже подросла мать, вместе они вывели поросят, вытащили кое-что из вещей.

Свернув возле почты на свою улицу, Михаил увидел пламя. «Молния!» — подумал он и побежал. Возле

догоравшего Иванова дома толпился народ. Дождь, как нарочно, стих. Никто не думал тушить. Напуганные взрывом, люди стояли поодаль и глядели. Пастух Степан тоже явился на пожар и за ним притащилось всё стадо. Овцы и козы толкались в испуге, а коровы стояли спокойно, большими глазами смотрели на огонь и только вздрагивали, когда пламя вскидывалось вверх. Протиснувшись между коровьими боками, Михаил остановился.

Анна кричала, звала Ивана и кидалась в огонь. Ее оттаскивали.

— Все вино проклятое, — говорила рядом женщина. — Из-за него всё.

— Клавдия-то наша, вижу, говорит, чегой-то он на крышу лазит да поливает, — рассказывала другая. — И чего это, говорит, думаю, он поливает, когда и так дождик. А он вон чего придумал...

— Нынче утром ведь я его встретил, — недоумевал Трофим. — Собаки, говорит, моей не видал? Собаку, значит, купил. А я этой собаки и не видел...

— Пусть бы сам удушился, а дом-то зачем спалил? Дом-то чем помешал?

— Всех бы их, пьяниц, в один мешок да в Оке утопить! Ей-Богу, не жалко!

— Ему, вишь, теперь ничего не нужно, а жена с дитём мучайся...

— Всё вино проклятое...

Дома уже не было, но огонь поедал его остатки. Крупные, гладкие, светлые внутри языки двигались, наплывали друг на друга, никли и опять взмывали вверх. Михаилу вдруг стало казаться, что он уже знал это когда-то прежде, видел где-то. Он силился вспомнить. «Въехал царевич Иван во горящий град. Во горящий град на вороном коне...» Бабушка рассказывает сказку, а он, маленький, жметя к ней поближе. На

улице ранний вечер — сухой, теплый, душистый, светлый... «Подъехал Иван к высоким хоромам, а из окон пламя рвется, на ветру бьется, а на самом верху во светлице сидит девица...»

Продолжая поглядывать на пожар, Михаил принялся отыскивать среди народа Антонину Прокофьевну. Она безмолвно стояла там, где ее оставила Таня, только повернулась лицом к огню. Михаил тронул ее за руку.

— Это ты, Миша? Видишь, какое у нас горе... Грех какой...

Трактор, наконец, подтащил пожарную машину.

Танюшке вдруг сделалось плохо. Она побледнела и чуть не упала. Трофим подхватил ее, поднял на руки и испуганно повторил:

— Что ты, дочка? Ты, смотри, не болей. Не болей только, слышишь...

Анна всё кричала, голос у нее срывался.

Пожар уняли. Народ стал расходиться. Анну увели.

Михаил взял под руку Антонину Прокофьевну, и они пошли к себе в избу.

После грозы сделалось холодно. Детишки, которые еще утром бегали разутые, в одних штанишках и сарафанчиках, теперь вышли на улицу в валенках с галошами и пальто с меховыми воротниками. Показался Макар в ватнике и сапогах.

— Ведь знал я! Вон к чему оно вышло — видение — сам весь в крови, а глазами в потолок указывает... — Макар ко всем приставал со своим видением, всхлипывал и кричал: — Иван! Друг! Лечиться, говорит, тебе надо. Макар-то — вот он-он, а Иван где? Нету Ивана! Друг!..

Постепенно продвигаясь по деревне, он в конце концов оказался у Григория. Дед впустил его, в память об Иване простил старые долги и налил стакан.

## XXII

На Михаила навалилась тоска. Непонятная, неожиданная, тяжелая. Он весь дрожал. Антонина Прокофьевна напоила его чаем, он залез в постель под одеяло, но всё равно его продолжало трясти. «Наверно, простудился там, в часовне», — подумал он. Антонина Прокофьевна долго вздыхала, потом улеглась на своем топчане и затихла. Михаил лежал в темноте и ему было так холодно и жутко, будто он остался один на всем белом свете. Он не мог простить себе, что приехал сюда. Зачем? Зачем? Ведь говорили же ему! Хотелось уткнуться головой в подушку и зареветь. Он чиркнул спичкой, посмотрел на часы. Без четверти двенадцать. В Москве еще вечер — работают рестораны, метро. Люди ходят по улицам. Огни... А здесь ни души... Раскисшая грязь, темнота... За окном снова стал накрапывать дождик, застучал по крыше. «Зачем только я приехал!» — Михаил опять чиркнул спичкой. Без четырех двенадцать. Неужели прошло всего одиннадцать минут? Наверно, часы стоят. Нет, тикают. А время не движется. Что же делать? Он даже подумал разбудить бабушку. Но не разбудил. Смешно. Чем она поможет?.. Хоть бы уснуть, чтобы скорей дождаться утра.

На рассвете Михаил поднялся, вытащил из-под кровати чемодан, запихал в него свои вещи — брюки и рубашка были мокры со вчерашнего дня. У чемодана оказался оборван один из ремней. Михаил хотел оторвать вторую половину, чтобы не болталась, дернул со злостью раз, другой, но она не поддавалась. Тогда он сунул ее под крышку и застегнул.

— Я уезжаю, — сказал он Антонине Прокофьевне.

Та заволновалась.

— Как же ты поедешь? Подожди, пока машина будет. С электростанции, может, пойдет, или колхозная.

— Доберусь как-нибудь.

— А то лучше до завтра подожди, — уговаривала Антонина Прокофьевна. — Утром разбуду тебя и вернешься, как приехал, на пароходе. В полпятого он мимо нас проходит.

Но Михаил ни за что бы не согласился остаться тут еще на день.

— До свиданья, бабушка. Спасибо тебе. — Получалось нехорошо, хотел взять ее с собой, а теперь уезжает вот так, один... — Я тебе напишу. Узнаю про врача и напишу, — пообещал он.

Старуха покачала головой.

— Что ж, если едешь, прощай. Больше уж, верно, не свидимся, Мишенька. Буду за тебя молиться, сколько мне осталось. — Она говорила спокойно, словно и не жалела, что внук уезжает.

Вера жила в ее сердце, надежно ограждая, заставляя всё принимать как должное и всё обращая в благо.

Михаил поднял чемодан и вышел наружу. Он и сам не знал, как станет добираться. Там, где вчера еще стоял Иванов дом с сараем, с забором, теперь была только неглубокая воронка, засыпанная пеплом. Под бесконечным серым небом она казалась маленькой и безобидной. Неоконченный сруб так и остался посреди улицы. Михаил обогнул его и остановился возле почты. На дороге, ведущей к Рязани, не было видно ни машин, ни людей. Михаил постоял и свернул к реке. Возле шлюза он опустил чемодан на мокрую траву и уселся на него верхом. Часа два он наблюдал серую воду в реке, пустой потускневший пляж, серое низкое небо, паром, уныло прибившийся к берегу, и одинокого дрожащего бычка, привязанного веревкой к кольшку. Вспомнил, как Таня говорила: «Бычка попробуй не привяжи! Это тебе не телочка. Телочку можно пустить — не набезобразит. Сойдутся две-три и будут по бережку прогуливаться, точно подружки. А бычок — хлопот не оберешься...»

Наконец, подошел теплоход. Тот самый, с которого Михаил прыгнул неделю назад. Теперь пассажиров было совсем мало. На остановке Михаил взял билет и поднялся в свою каюту. Соседей у него не оказалось. Он засунул чемодан в багажник, а сам растянулся на постели. Возвращение в Москву, встреча с Диной, с родителями, расспросы, необходимость отвечать, рассказывать — всё отодвинулось на пять суток. Пять дней и пять ночей... Было бы еще лучше, если бы теплоход вообще не повернул к Москве, а уплыл куда-нибудь далеко-далеко...

Пошел дождь и затянул стекло расплюснутыми, извивающимися струйками. Где-то внизу стучали моторы, подталкивая теплоход к Волге, а потом к каналу, где воды повернуты вспять и конец соединен с началом.

## Стихи

\* \* \*

Скажи, взаимоистязанье —  
Не смертный грех?  
Каким искупим наказаньем  
Сей смертный грех?

Когда в пылу самосожженья  
Весь дом в дыму, —  
Каким последним пораженьем  
Искупим тьму?

А как наступит пепелище —  
Тогда — сейчас —  
Всё пепелище скупит нищий,  
Богач на час.

И обогреется он нами  
За пяточок,  
Уставив в гаснущее пламя  
Живой зрачок.

\* \* \*

Так стрелки времени идут,  
Как по дорогам кружит ветер,  
Как ходит каждый на замете,  
И как заложники идут.

Так стрелки времени идут  
По кругу двух тысячелетий.  
Пошел крутить в последней трети  
Двадцатый век, свистящий кнут.

Так стрелки времени идут...  
Когда-нибудь на этом свете  
Они сойдутся и замкнут  
Круговращение минут, —  
И только мертвые в ответе.

\* \* \*

Порою крепок и росист  
Под утро сон,  
Так нем и так запретно чист  
Под утро сон...  
И каждый отзвук там глубок,  
И полутон...  
Так не кори меня, дружок —  
Всё это сон.

---

И будет всё наоборот,  
Совсем не так,  
До этого, как до ворот —  
Лишь только шаг.  
И будет тьма, и будет свет,  
И будет твердь,  
И будет та, которой нет —  
Сильна как смерть.  
Та, у которой гордый рот  
И тихий лик...  
До этого, как до ворот —  
Всего лишь миг.

\* \* \*

Как будто поздняя весна  
Сиял последний месяц лета,  
И всё же рядом, рядом где-то  
Уже сквозила желтизна,  
И словно в смутном ожиданье,  
Томился этот долгий день,  
А по лесам носилась тень  
Неслышного похолоданья.

\* \* \*

И я уйду в это царство теней:  
Там свет горячее и небо синей.

Там галька шуршит под ногою босой,  
И мальчик играет моею косою.

И крутит на палец блестящую прядь,  
Боится оставить, боится обнять...

Знобит сарафанчик, промокший насквозь,  
Мне плечи, когда возвращаемся врозь...

И косточки ягод в размытом кульке —  
И что там взойдет, на вечернем песке?..

А вечером в парке, обвитом лозой,  
Танцует цыганка с седою козой,

Мой спутник молчит, и белеет экран,  
И море шумит, и стучит барабан,

Сверкают монасты, и пояс звенит,  
Сережка, как искра, по ветру летит,

И смуглая кожа прельщает зевак...  
Ах, Господи, Боже — бывает же так!..

\* \* \*

Из неволи уплыть не умеем,  
Из тяжелой ячейчатой тьмы, —  
Оттого, на песке пламеня,  
Ртом дыша, трепыхаемся мы.

Ну а там — и делёж, и разделка.  
Отчего же в бессовестный миг  
Колет глаз костяная безделка —  
Потерявший опору плавник?

\* \* \*

Там, где старая ива склоняется в пруд,  
Белый птичник стоял, лебединый закут.  
Мать-лебёдка жила в нем, и лебедь-отец,  
С ними гадкий утенок — лебяжий птенец.  
Лебеденок подрос на другую весну,  
И умчались все трое в другую страну, —  
Где и свет горячее, и небо синей,  
Где и корм зеленее, и песня слышней.  
Проплывали они в голубой глубине,  
Тосковали они на другой стороне  
По родной лебедятне, по серым кустам,  
Да по ивовым стрельчатым тонким листам.

Лебедь к снегу летит, под ноябрьский лед, —  
Ах, не впрок лебедям лебединый прилет!  
Ах, не впрок!.. И размах ослепительных крыл  
Окровавленной раной отчизну прикрыл.

\* \* \*

Мне бы звенеть за печкой —  
Серым сверчком невзрачным,  
Мне бы с тоненькой свечки  
Воском стекать прозрачным,  
Мне бы вишенкой алой —  
Детской щеки коснуться...  
Капельки — самой малой! —  
Чтоб навсегда проснуться!

\* \* \*

Кто вы, безмолвные таланты,  
Что тайной верою крепки?  
В своей отчизне — эмигранты,  
В доме родимом — батраки.

Но есть у вас иное знание,  
Над сердцем есть другая власть.  
Дай силу мне, воспоминанье,  
К стопам истории припасть!

\* \* \*

Пред зеркалом я стану на колени,  
Без слов, без слез, в единственной мольбе:  
Не в будущих, не в бывших поколениях —  
Дай мне побыть в сегодняшней себе!

### ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ В РОССИИ

Шесть часов утра. Пора вставать. Завтра в это же время мы будем садиться в самолет. Всматриваюсь внутрь себя, ожидая ответа на вопрос, который мне задает почти каждый: «Что ты чувствуешь, покидая Россию?»

Месяца четыре назад, когда я в очередной раз звонил в ОВИР, справляясь о моем заявлении на выезд в Штаты, и получил недвусмысленный ответ от секретаря, что ему дан ход, — сердце защемило, душа заныла в какой-то смеси боли, тоски и радости. Вадим Филимонов, присутствовавший при этом и наблюдавший, как я крутился от переполнивших меня противоречивых чувств, заметил: «А я думал, что ты хочешь удрать...»

А я так и не мог всё это время привести свои чувства к какой-нибудь последовательности. Видимо, выезд из России для меня, да и не только для меня, — настолько кардинальный перелом в судьбе, что осознать его рационально невозможно. На этот вопрос, затрагивающий глубинные пласты личности и жизни, я отвечал разное. Вчера — Полетаеву: «Осознаю позднее. Как пересаженное дерево. Пойму, когда увижу, свернулись мои листочки или распустились с новой силой». А сейчас — ничего нового. Не из-за суеты ли

сборов? Может, потерял одиночество? Когда-то побег в Сибирь или на Кавказ за духовными откровениями проходили в состоянии интенсивного эмоционального и умственного напряжения... Да, но всё возвращалось на круги своя, а нынче..? Тогда была мнимость, теперь — реальность.

Просыпается Таня, и я предлагаю ей распределить роли. Она поедет сдавать вещи на таможенную, а я к девяти часам — на переговоры в КГБ. «Как же я там одна?» — «А что делать? Может, мне удастся все-таки получить разрешение на провоз рукописей». Таня молчит, и я чувствую, что она готова сорваться. «Смотри, Игорь, не КГБ помешает тебе выехать, — бурчит в сторону Володя Полетаев, — а с Таней случится истерика». Пытаюсь настроиться на спокойствие и передать ей, но вижу, что напрасно.

С Володей направляемся к Андреевым. До них пять минут ходьбы. Там я оставляю свою живопись. Если буду продолжать на Западе свои цветочные разработки, создам новые. Да мне и не вывезти, если бы и захотел. Большевики заставили бы выкупать у них мое собственное творчество. А откуда у меня деньги? На меня «национальная дискредитация» не распространяется. Пусть работы продаются здесь. Деньги пойдут на самиздат.

Долго звонили. Наконец открывается дверь, выглядывает заспанная Юлия Вознесенская. «Ну как, был в КГБ?» — «Еще нет, должен идти через полтора часа. Твой «опекун» говорил по телефону так, словно только и ждал моего звонка. Видно, хотят допросить как свидетеля. Не дадут они вывезти рукописи и не вернут конфискованные... Зря я затеял эту игру». — «А как же Главлит?» — «Был я там вчера — они имеют дело только с организациями. Увы, в России все дороги ведут в КГБ. Предстоят последние «объятия». И в день отъезда — это символично». — «Обязательно

расскажи, что там было. Не забыл наш уговор?» — «Ну конечно! Приходи вечером».

Прохожу в комнату. На стенах уже висит несколько работ. Внутри боль — последние минуты вижу их. Руки невольно тянутся забрать их с собой, завернуть, спрятать, унести. Это мои иконы, запечатленные кистью молитвы. Слово детей отрываю от себя и бросаю на произвол судьбы. Что будет с ними? Не пропадут ли они среди хаоса русского? Будут ли бережно хранить их и ценить? Но кому они понятны? Кто знает, как ложился каждый мазок, сколько переживаний стоит за каждой картиной? Без этих отправных точек мне будет тяжело двигаться дальше. Вот он, горящий отчий дом, поджечь который сладостно мечталось не раз. Поджечь и уйти по неизвестным безлюдным дорогам бродягой.

Юрий обещает до вечера развесить все картины. Я направляюсь к выходу, но что-то останавливает меня, — словно недосказал, недослушал, — какой-то незаплаченный долг... Может, это: «Напишите мне еще раз свои данные: год рождения, адрес. Ваш список я отдал в голландское посольство. Нужно продублировать еще и с Запада». Юра: «Сейчас трудные времена наступили. Двойной контроль приходится вызовам проходить — через Израиль и Союз. Обе стороны не заинтересованы устраивать выезд русским». — «В моем случае твое правило сработало наполовину». Неля протягивает мне записку: «Здесь наши данные и моего отца. Он пропал без вести во время войны. Может, на Запад перебрался? По рассказам матери, сильно тосковал по воле. Попробуй разыскать в Америке».

Идем с Володей ловить такси. Останавливается «Волга» с номером ЛЕБ. Мы переглядываемся: не КГБ ли подсовывает? Я сажусь. Не всё ли равно.

Пусть следят. Зато в таких случаях шофер не торгуется — берет, что дашь.

Вбегаю по лестнице к Полетаевым. Таня бросается ко мне: «Игорь, не ходи в КГБ! Ничего ты от них не добьешься. Я же не могу разорваться! И на железнодорожную таможенную и в аэропорт. Если не успеем — заберут визу. Пропадем же! Подумай о нас!»

Я оглядываюсь на Владимира: что скажет сторонний наблюдатель. Но он молчит, не желая вмешиваться. «Ладно. Потерпят. Кажется, им что-то нужно. Так зачем торопиться?» Решаем: Таня берет на себя железнодорожную таможенную (там проще). Я — аэропорт. Таня уезжает. Вскоре и мы с Борисом Кошелуховым заталкиваем чемоданы в очередную ЛЕБовскую «Волгу». По пути заезжаю в книжный магазин к К. Обещал две тысячи в долг. Нужно, прежде всего, рассчитаться с Д. М. Мы заняли у него на два дня деньги на авиабилеты. До часу дня нужно обменять четыреста рублей на доллары, по сто — на человека. На К. последняя надежда. А меня все уверяли: «Тебе-то в голландском консульстве дадут». — «Да я же не еврей и в Израиль не собираюсь?» — «Они там, уж конечно, ведут картотеку, и действительных беженцев по политическим мотивам поддержат».

Три дня тому назад, сидя напротив голландского консула, я уверенно начал: «Я прошу оказать мне денежную помощь». Голландский консул, представляющий интересы Израиля, — тощий, длинный, меланхоличный. Каким-то потусторонним голосом обращается ко мне через переводчицу: «Вы направляетесь в Израиль?» — «Нет. У меня вызов в США, но в Штаты — мне было отказано. Предложили оформить визу в Израиль. Но мы намерены ехать в США». — «В таком случае я вам ничем не могу помочь». — «Мои друзья получали денежную помощь, хотя и направлялись не в Израиль». — «Все, кто получал помощь, утверждали, что едут в Израиль. А в сердце мы не

можем заглянуть». — «У меня были самые добрые отношения с художниками-евреями. Мы поддерживали друг друга при организации выставок свободного искусства». — «Мы оказываем помощь не в зависимости от симпатий или антипатий к евреям, а только тем, кто направляется в Израиль». Я краем глаза вижу, как побледнела Таня. «Передайте господину консулу, что он учит меня лжи», — обращаюсь я к переводчику. «Господин консул не учит вас лжи», — с чуть заметной улыбкой перебрасывает она ответ. «В таком случае я вынужден заявить следующее: в связи с неожиданными для меня обстоятельствами я принимаю решение ехать в Израиль, поскольку оставаться в России мы не можем, а средств выехать не имеем». Эти слова вырываются из меня в возвышенно-театральном тоне. Как и ожидаю, получаю повторный отказ. Что же, я не мог иначе. Невольно на миг разворачивается перспектива ожидающего меня чуждого жёсткого мира.

Когда звонил Нестеровскому и передал разговор с консулом, посетовав, что при первом столкновении с Западом потерпел фиаско, тот успокоил: «Как знать... Но ты запомни урок и не выкладывайся начистоту перед каждым чиновником. Не думай, что те лучше наших».

Подъезжаем к магазину старой книги. Вбегаю и вижу: всё потеряно — лицо у К. тусклое. Он отводит меня в сторону и шепчет: «Позавчера пришли двое, дали понять, что из Комитета «советовали» не иметь с тобой никаких дел. Сказали: «Ему скинут выездной налог». Ты уж прости меня, я действительно хотел помочь. Но ты-то уезжаешь, а мне здесь оставаться. Терять работу я не могу». — «Чего же они «скинут», если я уже всё оплатил? И за потерю гражданства, от которого я не желал отказываться, и за визу, и за билет. Я обращался во все инстанции с просьбой не ощипывать с нас последние перья на финише. Просил

обменять облигации сталинских займов, доставшихся от родителей, — всё бесполезно. Пытался разжалобить. Писал: «В этих облигациях мое несчастное детство, недоеденный хлеб, рваные ботинки». Да их ничем не проймешь... Ну ничего... напоследок колотушки не помешают — долго не забудутся». — «Прощай, счастливо устроиться, сообщи, как там...»

Бегу обратно к машине. Как же это они разноухали? Не иначе этот горе-конспиратор Нестеровский звонил к К. со своего телефона.

Направляемся в аэропорт. По пути заезжаем на железнодорожную таможенную. Встречает смущенная Таня. «Со мною не хотят разговаривать — нужен глава семьи». Володя Полетаев стоит рядом, смеется: «Впервые вижу, что большевики забыли о женской уравниловке».

Заполняю какие-то бланки. Графа — «гражданство», чиновник подсказывает: «Пишите: «без гражданства». Пишу. Бюрократическая формальность болью отдается внутри. Словно вырваны какой-то злою, слепой волею корни. Бродяга. Перекати-поле... Где-то пристану...

У Тани больше не будет осложнений, справится одна. Ей остается молча присутствовать при проверке книг.

Перед тем как направиться в аэропорт, набираю номер: 2782520. «Анатолий Иванович?» — «Кто это?» — «Синявин. Здравствуйте. Мы с вами договорились встретиться в половине десятого. Но я не могу. Нам назначено на десять часов проходить таможенный досмотр на железной дороге и в одиннадцать — в аэропорту. Давайте где-нибудь после двух часов». — «Хорошо, что вы позвонили. А то я уже послал на розыски. У вас были бы осложнения». — «Если вы походатайствуете перед ОВИРОм об отсрочке выезда, тогда я могу хоть сейчас». — «Хорошо, приезжайте к двум часам. Не позднее. Смотрите, на этот раз не

опаздывайте». — «Скажите, почему вы так требовательно зовете? Я вас просил вернуть рукописи и разрешить забрать с собой за границу мой литературный архив. Неужели из-за этого нужно объявлять тревогу?» — «Придете — тогда и узнаете». — «Вы со мною играете в кошки-мышки. Скажите, свидетелем или обвиняемым?» — «А вам что, хочется быть обвиняемым?» — «Ни тем, ни другим». — «Пока вы еще на территории Советского Союза и будете подчиняться действующему у нас законодательству. Жду вас». — «Хорошо. Буду». Кладу трубку. Чувствовало же сердце, что нельзя их касаться. От них ничего не получишь. Как прокаженных, нужно подальше обходить. Аэропорт. Ставлю чемоданы на проверку — «досмотр», как именуют эту операцию таможенники. Я приготовился к прощупыванию и просвечиванию каждого сантиметра. Всё оказалось значительно проще. Подкладку у чемоданов не вскрывали и не прокалывали. Но каждую фотографию внимательно просмотрели. Не повезло Игорьку. Я его снял на фоне нашего сельского железнодорожного моста. Не пропустили и цветные слайды с моей работы, где вся плоскость заполнена автографами, которые я собирал на выставке семьдесят четвертого года, вглядываясь в лица и разыскивая своих. «Почему?» — «А вдруг это подписи, собранные под антисоветским воззванием Сахарова?» — «Резонно», — соглашаюсь я с полицейской логикой.

Откладывают в сторону мою вольную копию иконы св. Георгия на белом коне. Это одна из первых моих проб. Икона освящена в церкви и вдвойне дорога мне. Она уже однажды побывала в КГБ. Кто-то выкрал ее из дома: тогда я еще держал двери незапертыми. Каким-то чудом удалось получить обратно.

Я взмолился: «Да вы же видите — это не подлинная икона, а копия на холсте. Имейте совесть! Я и так оставил все свои работы — мне нечем платить. Только одну небольшую и везу с собой. Не истори-

ческая же ценность — это мой детский рисунок». Понесли куда-то. Вскоре вернулись. «Начальник разрешил. Только спрячьте, чтобы никто не видел». Я облегченно вздыхаю. «А на провоз креста у вас есть разрешение?» — заметил крест у меня на груди. Это медный крест с распятым Христом. Тот, кто вручил, заверил меня: «Это с Соловецкого монастыря, монашеский». И я его носил, не снимая. Решил: если откажут, не дадут выехать с ним — никуда не поеду, останусь. В нем благословение России на отъезд, частица Родины. «Да я и на фотографии, на визе с ним». — «У нас инструкция. Разрешить провоз антикварных вещей — не можем». Что делать? Без него — словно уж выползу. Попробую успеть сегодня в Эрмитаж. Хотя опять, видно, говорят чепуху. Опять не найдешь концов. А может, успею?.. И я пытаюсь оттянуть неизбежное...

Наткнулся на тюремную фотографию Вагина с надписью: «От бывшего узника Гулага при расставании (надеюсь не надолго)». — «Хм... Странная фамилия: «Гулага»...» — «Бывает...». Положил в общую кучу. Вот они — два мира. У одних слова «ГУЛаг», «самиздат», «диссиденты» и т. д. стали обиходными, а другие ни разу не слышали. Что же у нас общего? Язык — и тот разный.

Наконец приходит очередь ставить чемодан с рукописями. Здесь мои незаконченные наброски, начинания, дневники, литературные эксперименты, религиозные опыты. Всё это невозможно восстановить по памяти. В них мое духовное становление. И никому, кроме меня, не понять и не расшифровать эти черновики, никому они не нужны: ни друзьям, ни КГБ. Я с полной безнадежностью открываю перед удивленными таможенниками и пограничниками свой саквояж. «Да вы что?!. (мол, не рехнулись ли, того...) У вас есть на это разрешение?» — с неподдельным удивлением восклицают они все разом. «От кого разрешение?»

— «Это уж вы лучше нас должны знать!» — «Я уже во все организации обращался — никто этим не хочет заниматься». — «А в КГБ обращались?» — «Нет».

Сразу же, как только получил визу (незабываемые минуты неподдельного счастья!), я набрал телефон этой же самой таможни и спросил: «К кому обращаться за разрешением на провоз рукописей?» — «Получите билет, тогда и приходите, запишетесь в очередь». Пришел три дня тому назад — направили к пограничникам аэрофлота. Те советуют обратиться в Союз Писателей. «Но я не член СП». — «Тогда в Горлит». В Горлите (цензурный отдел, именуемый комитетом по охране государственных тайн) утверждают, что имеют дело только с организациями, а не с частными лицами. «Что же мне делать?» — «Попробуйте, — советуют, — обратиться в Публичную библиотеку». Через пять минут (по подземному переходу перейти напротив через Невский) был в Публичке. Там начали перебрасывать из отдела в отдел. Набираю номер очередного отдела и слышу какой-то родной голос — добрый и исстрадавшийся. Спрашиваю с отчаянием: «Посоветуйте, как мне быть?» Отвечает сдавленно: «Обратитесь в Комитет». Я понимаю, о каком «комитете» идет речь, поскольку именуют так только вездесущую организацию, но по инерции: «В какой?» Из трубки еще более сдержанно: «Разве не понятно?.. В комитет госбезопасности». Я — упавшим голосом: «Да мне это давно понятно... Но я всё надеялся найти какое-то государственное заведение...»

Таможенники, так и не заглянув внутрь, оставляют мой баул в сторону. «Ну хоть личные письма пропустите...» — «Нет».

Вбегают взволнованная Таня. Часть книг не приняли. Те, что выпущены периферийными издательствами в Грузии, Средней Азии. Здешние таможенники без спора пропускают. Не разрешили там взять и землю в горшке. Таня им: «Наберите сами в любом

месте». — «Не положено». Я уже так устал, что не в силах вымаливать. Стыдно раскрывать свою сентиментальность, свои чувства. «Таня, давай ты». Но и эти стражи законов оберегают каждую пригоршню земли. Ничего, умирать вернусь сюда...

«Игорь, Володя отдал свои последние пятьдесят рублей. С меня там потребовали за ящик и за упаковку. А у них, я знаю, — денег нет, до получки еще далеко». Володя слышит разговор: «Мы-то выкрутимся как-нибудь. Лишь бы вас спасти. А вы нам можете. Нас отсюда вытащите».

Таможенника заинтересовала простенькая жестяная коробочка, в которой лежала узкая киноплёнка. «А вы бы не могли дать эту коробочку нам? Нашему начальнику под подушечку для печати?» — «Пожалуйста». Странно, что за мелочность? Это — стандартная упаковка из-под плёнки. В любой фотолаборатории они валяются в мусоре. Но тут же я осознаю сокровенный смысл его просьбы. Они привыкли получать взятки с отъезжающих. Пару бутылок коньяку — это минимум. Дальше — определенный процент от нелегально вывозимого товара. Так и оказываются в Риме экономические «диссиденты», нагруженные драгоценными камнями и православными иконами. Видно, настолько привыкают таможенники получать с каждого, что и с меня потребовали символическую взятку. И меня втянули в разврат и разложение. А велика ли, мала ли взятка — не столь уж важно, не по количеству будем судимы... Я противен сам себе, со своим заискиванием перед этими плебеями. Пытаюсь сам упаковать чемоданы. За эту «услугу», я слышал, здесь здорово дерут. Спрашиваю, придавая наивный оттенок голосу: «Я могу сам упаковать чемоданы?» — «Мое дело проверить, за остальное я не отвечаю», — уклоняется он от ответа. Не успеваю взяться за дело, как меня отталкивают услужливые мужички, нивесть откуда взявшиеся. «Вы не волнуйтесь, все сде-

лаем аккуратно». — «Да нет, спасибо, не нужно, я сам». Но пока складываю один, — они уже завладели остальными.

Наконец всё закончено. Направляемся с Таней к выходу. Нам перегораживают дорогу расторопные работнички. «С вас шестьдесят рублей». — «Какие шестьдесят! За что?» — «Четыре чемодана. По пятнадцать с каждого за упаковку. Итого шестьдесят. У нас такса». Я в полной растерянности перед их наглостью и напором. «Смотрите, ваше дело... Получите в Вене одни черепки — мы не в ответе». — «Ребята, да это грабеж! Брали бы, с кого можно содрать. У нас нет денег даже для обмена на валюту». Таня: «Игорь, да не давай ты ничего, у нас деньги не ворованные». — «Таня, они здесь все заодно. Ничего не поделаешь... Перебьют наши пластинки». Вытаскиваю последние двадцать рублей, отсчитываю пятнадцать. «Вот все, больше не могу». Взяли. Ворчат: «Что нам-то останется? Смотрите, как бы вам не прогадать...»

Третий час. Я опаздываю в КГБ. Берем такси и четвером (с нами Виктор и Володя) едем к Комитету. Виктор: «Хорошо они устроились. Торопиться приходится, да еще и денежки выкладывать. Крепко еще в нашем сознании сидит завет: «Всякая власть от Бога». Вот и пользуются они нами. Володя: «Карамзин, когда обосновывал абсолютную власть монарха, писал, что даже если на месте царя окажется ослица, то мы должны смотреть на взмахи ее хвоста и пытаться понять — что же нам нужно делать? Потому что, мол, в наказание за наши грехи посылает Господь подобного правителя». — «Да вот так и заставляет нас наша российская власть метаться между покорностью и анархией. Интересно всё-таки, что там будет? Скучать, я думаю, не придется». Виктор: «Для твоих документальных записей — удачный эпилог». — «В моем сюжете суть не в детективной канве, а в усилиях найти путь для духовного спасения». Володя:

«Смотри, враг погубит душу на самом выходе. Будь осторожен». — «Да, последнее сражение».

В бюро пропусков, просунув в щель визу, получаю заполненный бланк, и мы с Таней направляемся в обход через Литейный к пятому подъезду. Открываю с трепетом тяжелую дверь. Мрачного вида охранник. Протягиваю пропуск. Он набирает номер телефона. Таня успокаивает: «Ты только не паникуй. Не падай духом. Они теперь ничего не могут сделать». — «Таня, ты иди к Полетаеву Володе, отправь Игорька и Оленьку к Саше. — «Нет, я подожду».

Выходит невысокого роста майор, с внутренней серостью, усталостью. И его-то Юлия описывала как милашку, знатока поэзии?.. Ну нет, искусство не коснулось его даже краем. Видимо, перед встречей с нею, чтобы найти путь к сердцу, вызубрил наизусть что-то из Блока. Так же, как с урками, — перед допросами разучивают блатной жаргон, чтобы по-свойски, по-фени можно было изъясняться.

«Анатолий Иванович?» — «Он самый». — «Вы меня долго задержите? Таня хочет меня ждать здесь». Он поворачивается всем корпусом к Тане: «Вам лучше идти, не волнуйтесь». И усмехнувшись: «Сегодня вернется, будьте уверены». Таня: «Нам завтра улететь навсегда, а мы еще не всё приготовили, не попрощались. Не задерживайте его». — «Это и от Игоря Ивановича зависит». Опять неуклюже, по-полувоенному, разворачивается и жестом приглашает меня следовать за собой. Поднимаемся по лестнице. На каждом пролете натянута сетка. Не иначе как страховка от самоубийства. Открывает ключом дверь. Большой коридор без окон. Проходим в ближнюю комнату. «Подождите, я вас сейчас приглашу». Закрывает двойные двери. Оглядываюсь. Какая-то нейтральная, безликая комната. Стоят фикусы. Как они здесь выдерживают? Клопы, и те не вынесли... Не так давно Юлия поделилась секретом, как выводить клопов... Долго ей «загова-

ривали зубы» в КГБ, пытались затянуть в сети, купить. И наконец, как и предупреждали друзья Юлию, комитетчики сбросили маски и стали копаться в нижнем белье. Тошно Юле стало. А тут клопы повалили. «Ну, погодите у меня!» Набрала, рассказывает она, я их в баночку и на очередном допросе, когда опять смрад пошел, открыла потихоньку крышку и вытряхнула всех на пол. «И с того дня исчезли. Ни одного, хоть всё перерой».

Может, и фикусы не растут, а выжидают, надеются освободиться?

Хочется есть. Устал. Закрываю глаза и окунаюсь внутрь, черпаю силы.

Вскоре А. И. возвращается. Проходим в соседний кабинет. Он указывает мне на столик со стулом в углу комнаты под нишей. Оглядываюсь. Где-то должны быть спрятаны микрофоны. Говорят, ведется запись на магнитофон, и за развитием беседы следят из соседних кабинетов и вмешиваются, когда нужно направить самого следователя, ведущего допрос.

Спрашивает фамилию, имя, отчество, год и место рождения. «Вы объясните сначала, для чего меня вызвали?» — пытаюсь я выбраться из навязываемого мне ритуала. «Не торопитесь, всему своё время. Итак, место жительства?» — «У меня ни места жительства, ни гражданства». Он озадачен. Видимо, впервые встречается с подобным казусом. «Но вы же будете где-то ночевать?» — «Еще не знаю, где». — «Запишем адрес Андреевых, ведь вы же там будете вечером?» — «Если у вас во всем остальном такая осведомленность, так мне и отвечать не придется».

Я спохватываюсь. Не по моей ли инициативе и не для своей нужды договаривался я об этой встрече? Но, увы, попался в ловушку. Проиграл. Принимаю их правила игры, ведет он. Что это? Подсознательное уважение к власти, ввевшийся с пеленок патернализм? Или гипноз, исходящий от стен, что впитали в себя

самоуверенность палачей и муки жертв, пытавшихся спастись? Но идти надо. И я, как канатоходец, балансирую между возможностью свалиться в пропасть и сохранением собственного достоинства.

«Скажите, пожалуйста, вернете ли вы мне всё, что конфисковали у Андреевых? Мои рукописи, картины, альманах «Петербургские встречи»? Могу ли я забрать с собой за границу хотя бы рукописи?» — «Разрешение на провоз рукописей — не моя компетенция. А то, что конфисковано у Андреевых, может быть возвращено после суда над Юлией Вознесенской. Для этого должно быть вынесено специальное решение суда».

Не вернут. Только строят из себя порядочных людей.

«А почему вы мне не сказали сразу по телефону?.. Чтобы заманить?» — «Вы в любом случае сегодня были бы здесь. Вас вызвали свидетелем по делу Вознесенской, Лесниченко, Рыбакова и Волкова».

Боже, что им от меня надо? Какой я для них свидетель?

Зачитывает номера каких-то указов, согласно которым я должен говорить правду. До чего просто решены все моральные проблемы — двумя постановлениями!..

За отказ от показаний и за ложь по тому же неоспоримому абсолютному законодательству мне будет следовать то ли год, то ли полгода — забыл.

«Буду говорить правду, сообразуясь с совестью». — «Ну, у каждого совесть своя... А правду говорить надо... Нехорошо лгать». — «Без совести-то какая правда? Вы же не ангелы добра. Где гарантия, что правда не будет использована во зло? Главное, не потерять правду в душе, не запутаться»... Он не отвечает. Роемся в своих бумагах. Что же, он, согласно тем же непререкаемым постановлениям, обладает при-

вилегией быть бесцеремонным... Достает листок. Заглядывает в него.

«Скажите, вы давно знакомы с Вознесенской?» — «С января семьдесят пятого». — «Между вами не было ссор, вражды?» — «В целом всё нормально».

Может, отказаться отвечать, не разговаривать с ним? Как мне не раз советовали. Не следовать ли Христу, молчавшему перед судилищем? Но судят не меня, и, может, я помогу ей? Да и Христос учит Своих, что там им будет дано, что говорить... И не дает наставления: молчите, и точка. ...Нет, всё это отговорки. Встать бы сейчас и сказать ему всё. Начать судить подземелье дьявола вместе с этим «незловобым» Анатолием Ивановичем... Но я бессилён. Вижу себя вымуштрованным рабом, ощущаю придавленную свою душу. Не дано мне. Грехи тянут меня, обрезают крылья. Соблазн всею жизнью, ее иллюзорными радостями тяжестью навалился на плечи. Мой взрыв будет истерией самоубийцы. Боже! Когда же, наконец, переполнится чаша Твоего терпения?!

Звонит телефон. Он поднимает, слушает. «Скажите, чтобы шла домой. Он скоро вернется». Я догадываюсь: это Таня. Ее поддержка сразу же вливает новые силы в меня. «Верная у вас жена...» — «Да, в беде не бросит. Ваши органы уже пытались вбить клин между нами — ничего не вышло». Он заглядывает в листок. «Скажите, вы разговаривали с Вознесенской о надписях на Петропавловской крепости?»

Ну конечно, и не раз. И ему, видимо, известно. «А вы прослушайте разговоры, которые записывала ваша организация в комнате у Юлии, и узнаете, говорил я или нет». — «Я такими записями не располагаю. Не верите? Ну, я не знаю, как вас убедить...» Может, действительно, не знает? Уж больно искренне звучит его голос. «Скажите, Юлия отказывается от дачи показаний?» — это я. Он взвился, будто ему на большое место наступили. «Пусть она не строит из

себя героиню! С нею по-хорошему, а она... Может и у нас, наконец, терпение лопнуть. На всякую старуху своя проруха. Одни ваш знакомый назвал ее юродствующей поэтессой. Пусть она в другом месте паясничает».

Ого, крепкий для них орешек Юлия! Как она их разъярила... Плохи ее дела. «Юродствующая поэтесса»... Кто же это так зло поиздевался над нею? С кем они так близко сошлись и поняли друг друга? Неужели они засекали и наши разговоры с Нестеровским, когда мы осмысляли с разных сторон демарш с надписями? И теперь хотят найти во мне отклик, чтобы и я согласился внутренне с ними? Уверены, что я буду потирать руки от удовольствия, наблюдая расправу. Как близко подступает искушение отомстить за споры, использовав эту хищную организацию!

«Я не буду оценивать стиль ее диалога с вами и вашим учреждением, но считаю, что она обладает правом отказаться от показаний, поскольку — обвиняемая. Вам это, понятно, не нравится. Помеха в работе. Но с моей стороны было бы безнравственно сбивать ее с занятой позиции. Раз она молчит, — и я ничего не могу добавить. Я ей зла не желаю». — «Ну что же, так и запишем».

Странно! Почему он не давит? Неужели им от меня нужно отделаться? Коли попал в список свидетелей — должен быть допрошен. И здесь своя бюрократия. Вот и приходится — заполнять А. И. бланки допроса. А потом, мол, вали на Запад, задерживать не будем.

«Скажите, а с Наталией Гум-Лесниченко вы разговаривали о надписях?» Я задумываюсь. Что-то им всё-таки от меня надо... Прекрасно же знают, что я не связан с этим делом. «Почему вы молчите? Ваш предстоящий вылет в Вену не освобождает вас от уголовного кодекса. Отъезд можно и отложить...»

Им нужно бросить кость. Ладно... А ребятам мои показания не помешают. «Да, я разговаривал с Натальей вскоре после того, как она отсидела у вас трое суток. Я спросил её: «Действительно ли вы трое признали свою вину?» Мне было любопытно. Ходила по городу версия, что это — дело рук вашей же организации. И мне хотелось разобраться: не начинаются ли вновь прежние времена? Наталья на мой вопрос коротко кивнула, и я понял — они сознались».

Я вижу, как он потеплел, оживился, стал смотреть на меня, будто мы с ним одни щи хлебали. Опять! И здесь та же коробочка, что и на таможне. Боже, не потянет ли она меня в ад, как ту грешницу, которую Богоматерь вытянула из преисподней за луковичку. Всего-то и было добра за всю жизнь, что эта луковичка, поданная когда-то нищему... А у меня, ко всем моим грехам, еще эти коробочки... Крепко уцепятся, черти... Зачем пришел сюда? Что тянуло меня идти к этим искуителям? Неужели это заведение — родное нам, часть нашего духа? И не можем мы покинуть насиженные места, не простившись с ним? Не мы ли сами вырастили его в наших душах?

«Знали ли вы до разговора с Натальей Гум об их намерениях написать лозунги на стенах Петропавловской крепости?» — «Я и сейчас не могу поверить, что это сделали они. Все они не чужды искусству. Поэты, художники. Малярная кисть — это неприлично. Но если все же они, то можно и понять. Или детские шалости, или накипело... Лишили выставки в мае и июне, отказали напечатать сборник поэзии «Лепта» — вот и довели людей до отчаяния. Но такой размах... А их так мало. Нет, это им не под силу. К тому же, слезка за всеми нами... Недаром говорят: надписи — дело рук самого Комитета». — «У вас фантастические представления о КГБ».

Он встает и достает из шкафа мой альманах «Петербургские встречи». Я смотрю на увесистый том.

Сколько я вложил в него труда?! Уникальные фотографии, подлинные документы: движения художников, поэтов, поэзия и проза, автографы и записи на страницах альманаха, чеканка на обложке. Почти всё сохранилось в копиях, но подлинник восстановить невозможно. У меня на глаза наворачиваются слезы. Удобрям мы потом своим поля, а плодами нам не дают питаться, пьют нашу кровь и дух. Вижу торчащие страницы. Хочется возмутиться, но получается уж очень вежливо: «Почему вы так неаккуратно обращаетесь с альманахом?» — «Не волнуйтесь. Это всего лишь закладки. У нас всё будет в сохранности». — «Что ж, потомки, может, раскопают...» — «Скажите, вам знаком этот сборник?» — «Еще бы... всё своими руками». — «Скажите, каким образом оказались в этом сборнике ответы Юлии Вознесенской на анкету?»

Мы заранее договорились с Юлией, и мне остается повторить нашу версию. К тому же и врать особенно не приходится — версия близка к правде.

«Прежде всего я должен объяснить, что альманах я собирал не как подпольное издание. Всё, что в него вошло, порознь вашему учреждению должно быть известно. После ознакомления со сборником всех авторов и окончательного согласования с ними, я намерен был представить его в Комитет по печати для получения разрешения на издание. Моей целью было основать легальный журнал, на страницах которого наша бы свое отражение художественная и литературная жизнь неофициального Петербурга. Журнал внецензурный, но не подпольный, не антисоветский. Всё сложилось так, что я не успел довести работу до конца. Да и ваше учреждение поспешило вмешаться. Юлия ответила на мои вопросы. Ответы от нее я получил в виде рукописи. Каким образом я их намерен был использовать, этого мы не обсуждали. Позже я их, вместе с ответами других литераторов, подшил в

макет будущего журнала. Его она не просматривала, не успела».

Опять звонит телефон. Он отвечает кратко: «Да, да, скоро». Я продолжаю: «Насколько мне известно, Юлия свои ответы не размножала. И не исключена возможность, что она при знакомстве с проектом альманаха, отказалась бы, забрала их оттуда». Надо поддержать ее, а мне хуже не будет. Он встает и вытаскивает из-за шкафа знакомый холст. На нем я начал было собирать автографы к двухсотлетию Соединенных Штатов. Ничего не вышло. Как-то необычно сухо, уныло. Я объявил тогда знакомым: «Что-то мое творчество и с Америкой не в ладах». Майор подходит и указывает на рисунок скелета, держащего красное знамя, рядом подпись, предупреждающая об опасности Америку. Всё это проступает сквозь белила. Мне была неприятна эта карикатура в стиле журнала «Крокодил», и я её замазал. Но чернила фламастера пробились сквозь слой темперы. Он пытается прочесть надпись. Я не поправляю его. Неужели они узнали, что эта рука Волкова?

«Чей это рисунок, правильно я прочитал?» — «Эта работа незакончена. Я ее поставил в угол и хотел загрунтовать. Вмешательство в творческий процесс считаю бестактным. Никаких других объяснений дать не могу. Прошу вернуть мне мой холст». — «Сейчас я не могу этого сделать». Он садится и записывает мой ответ. Странно, опять он вежлив, даже равнодушен. Может, они хотят оставить о себе благоприятные воспоминания? Чтобы там, на Западе, я их не слишком ругал? Но как мне вычистить свою душу от заразы, что внесли они в меня, от того страха, который так трудно, невозможно преодолеть... еще со школьной скамьи? Как распрямить мне спину, согнутую покорностью? А их вежливость несет в себе еще больший соблазн. Скорее бы отсюда. Я хочу жить. Здесь надо идти на гибель. Другого пути для спасения нет.

Он долго возится с бумагами. У меня спадает напряжение, и я выписываю на обложку книги, которую прихватил с собою, с холста себе на память: «Америка, тебя приветствуют идущие на смерть!» Неразборчивая подпись Петра Болдырева. «Америка, я рад обнять тебя, да руки и ноги связаны», «Тебя мы спасаем, неся Крест», — подписи уже не помню, чьи.

«Скажите, по милости вашей организации я оказался без денег на дороге? Один мой знакомый обещал дать в долг. Так ваши сотрудники потребовали не оказывать помощи». — «О ком вы говорите?» — «Справьтесь, вам ответят». — «Мы в такие дела не вмешиваемся. Не хотел, видно, дать, а свалил на нас. Сейчас стало модно всё валить на КГБ. Мы — как козел отпущения стали. Хулиганы нос разобьют — не иначе как по заданию КГБ, с работы уволили — опять мы виноваты».

Я слушаю его, и мне на какой-то момент начинает казаться, что мое представление о мощи этого заведения — разгул ночной фантазии. Может, права была Юлия, и не только иносказательно, когда, словно в откровении, вещала: «Нужно всем понять — они слабы. Со всем их аппаратом и хитростями. Они держатся нашим суеверием. Главное, не бояться их, и они разваливаются как пустышки».

«Ну, вот и пришла пора, когда секретность и тайна перестали работать на вас. Выйдите на свет, раскройте карты — может, вам и посочувствуют, поймут вас». — «Давайте не отвлекаться...» Задает еще какие-то вопросы и начинает оформлять допрос. Вставляет бланки в печатную машинку и медленно, неопытно стучит пальцами по клавишам. Видно, недавно перешли на «современную» технику. Я начинаю скучать. Хочется есть. Слабость. Сказываются две голодовки за прошедший год. Пытаюсь читать книгу, но мысли уходят в сторону. Неужели они могут снять нас с самолета? Но на меня дело они не заводят, это похоже

по вопросам. А как свидетель на суде над Юлией (если он будет) я им не нужен. Так что можно успокоиться. Увлекаюсь книгой. Опять звонит телефон. «Да, да...» — лицо у него непроницаемое. Наконец он протягивает мне на подпись свое «творчество». Устало перечитываю и с трудом понимаю. Мысли чужие. Язык не мой. Словно камни пережевываешь. Вернуть бы не глядя... Ничего этого я не говорил. Вместо деревьев выглядят обрубленные стволы, обломанные ветки. Наталкиваюсь на фразу: «Наталья Гум сказала мне, что это они писали лозунги на Петропавловской крепости».

«Я таких вещей вам не говорил. Она мне сообщила, что признала себя виновной, но я не слышал от нее заверений, что это писали они». — «Какая разница? Это несущественно». — «Если бы не существовало принуждения при допросах и самоговора, то было бы несущественно. И я не доносом занимаюсь. Мои слова лишь подтверждают, что у вас хранится ее текст с признанием. Я вам ничего нового не даю». — «Не переписывать же мне? Давайте я сделаю внизу сноску, примечание». Он вставляет лист в машинку, печатает и возвращает мне. Внизу приписано: «Уточняю: «Наталья сообщила мне, что признала себя виновной по предъявленному ей обвинению». Я подписываюсь под листом и под примечанием и читаю дальше. Опять извращение моих слов. И он вновь добавляет. Наконец последний лист. Нужно еще раз перечитать, но уже до того тошно, что не могу пересилить себя и заставить глаза опуститься на эти липкие строки. Скорее прочь из этого высасывающего силы и душу заведения. Скорее вообще отсюда! Что бы ни ждало там впереди, но я избавлюсь от этой «опеки». Я буду спокойно спать ночью, мне не придется вскакивать от шума каждой приближающейся машины. Я не буду шараться в темноте от каждого встречного. Их анонимные угрозы расправиться со мною на Западе

— блеф. Хотя... Боже, надо избавиться от страха смерти...

Допрос закончен. Мы встаем. Я оглядываюсь на свое детище — на мой альманах, мои «Петербургские встречи», одетые в холщевый переплет, украшенные чеканкой. И он остается, словно выкуп кровью, куском тела за освобождение.

Подходим к двери. Он нажимает на цифровой замок явно западного производства, и мы спускаемся по лестнице. Он по-отечески советует: «Не надо заниматься политикой — и делали бы свое дело: писали, рисовали». — «А чего же тогда ваши громят выставки, конфискуют рукописи? В катакомбы, что ли, нам забираться?»

Наконец за мной захлопывается тяжелая дверь — я на улице. Но теперь во мне продолжается диалог с самим собою, словно борьба не кончена, ясность не наступила. Нет ощущения победы, какое-то опустошение. Права была Ходорович, когда говорила: «Вы считаете, что только Христос имеет силу сказать им в лицо правду, поскольку Он власть имеющий? И, мол, Христу-то чего не идти на крест, если слова Его услышаны, а дело завершено? Нет, не только Он, но и всякий человек в любую минуту может быть поставлен перед выбором. Если дожидаться и надеяться продать жизнь подороже, может оказаться, что и продавать-то будет нечего — душа уже погибла».

Я иду, погруженный в спор с самим собою. Не замечаю людей, улицы. Ноги сами поворачивают по знакомым местам. Вдруг обнаруживаю, что вместо квартиры Андреевых я стою перед закрытой дверью дежурки — мастерской по лифтам — местом моей последней работы. Что это? Что за чертовщина? Как скотина в свой хлев тащусь... Да зачем мне голову себе самому морочить?! Не я! Не во мне! Не нужно копать! Так можно себя осудить, а их оправдать. Зачем комара сжевывать? Преступники они. Не я их

растил. Это они пытаются совратить и отравить ядом сомнения. Прочь от них. Меня они не поймали.

И я бегу с ясным осознанием своего места в пространстве.

У Андреевых полная комната знакомых, друзей. Юлия, окруженная молчаливыми слушателями, упоенно рассказывает о своей битве с КГБ.

«Юля, остановись на минуту. У тебя еще будет время. А у меня всего часа четыре видеть всех». Я набрасываюсь на скудное угощение. Какая-то тощая селедка, хлеб. — «Юля, не торопись, до победы далеко. Тебе нужно быть осторожной. Они злы на тебя». — «Ну, расскажи, расскажи, что там было? Как он тебе показался?» — «Какое имеет значение, каким колесом нас давит машина? А мои показания ты прочтешь перед судом. Думаю, что мне не придется краснеть».

Рассказываю всё по порядку. Передаю и последние слова следователя: «Не суйтесь в политику».

«Что же, последний совет неплохой, хотя и исходим мы из разных оснований. Не на поприще политическом мы побьем их, а на духовном. Мы обрели смелость творить — и это наше оружие. Если мы владеем кисточкой живописной, грех подменять ее малярным валиком. Если нам дано создавать картины, нельзя браться за трафареты для лозунгов. Надо иметь выдержку и не впадать в истерию. Если воевать, то не в одиночку. Особенно женщинам». Юлия: «Если бы были мужчины! Я их не вижу! Все в баб превратились. Приходится женщине делать ту работу, от которой мужчины сбегают».

Филимонов Вадим, уже успевший порядочно «нагрузиться»: «Игорь, ты брось. Мы все вместе связаны. Надписи на Петропавловке — воля Божья! Когда одного из нас хватают — никто не должен умыть руки и быть умнее всех при этом! Неужели нам клеветать тех, кто не выдержал молчания? Да не жалея ты свой

## ГРАНИ

альманах. Соберем еще лучше!» — «Хорошо, Вадим. Не будем спорить хоть сегодня. Предлагаю свой прощальный тост: «Выпьем за будущую Россию, из которой не придется уезжать! Выпьем за ту Россию, из которой мучительно уезжать сегодня! Где бы мы ни были — там ли, здесь ли — будем ее все вместе освобождать и строить!»

*Октябрь 76 — август 77*

*Рим — Нью-Йорк*

# Литературная критика

Ю. КАРАБЧИЕВСКИЙ

## ТОЧКА БОЛИ

*О романе Андрея Битова «Пушкинский дом»*

1

Опыт последних десятилетий показал нам со всей очевидностью, что литературный вкус — эта неуловимая субстанция, растворенная в воздухе эпохи, — легче легкого поддается уничтожению и подмене и необыкновенно трудно, необыкновенно долго и мучительно восстанавливается.

Одно время казалось, что стоит отбросить административное давление, стоит забыть о цензуре и страхе, и литература снова станет литературой — с живыми героями, реальными проблемами, индивидуальностью стиля и мышления и мало ли еще с чем; мы тогда и думать забыли, с чем бывает подлинная литература. И хотя было известно, что отдельные книги пишутся отдельными людьми, не зависящими друг от друга, не связанными друг с другом, а порой даже враждебными друг другу, — всё же нам, привыкшим начинать разговор о произведении с анализа исторических и экономических условий, казалось, что стоит повернуть некоторый ключик в некотором замочке — и хлынет мощный поток гениальности, который поглотит мутные ручьи литературного безрыбья.

Собственно, мысли такие стали витать в воздухе,

когда ключик уже поворачивался. И в первый момент так оно и показалось, что вот, наконец, — свершилось! Появились первые ласточки свободной литературы, печатной, а затем и не печатной, и мы сразу же были потрясены такой простой и естественной возможностью для писателя сказать правду — полную правду, без обиняков, намеков и недоговоренностей.

Однако шли годы, появлялись новые книги, и постепенно формировалась в нашем сознании новая образцовая модель художественного произведения, во всем или, по крайней мере, в основном противоположная прежней. Всё в ней было наоборот. Враги народа оказались друзьями народа, друзья — врагами, первые стали последними, а последние — первыми. И только народ остался таким же, каким и был — трудолюбивым, доброжелательным и бескорыстным. С точки зрения политической, такая замена была, возможно, оправданна, но с точки зрения литературной, это был поворот не на сто восемьдесят, а на триста шестьдесят градусов. Место идеи заняла противоидея. Плакатную девку с наполненным кашей ртом сменили другие изображения, но и они оставались двумерными — не толще бумаги — и по-прежнему строго функциональными.

Тут требуются некоторые пояснения. Те подвижнические книги, которые заново расставили плюсы и минусы, показали, что белое — белое, а черное — черное, книги эти не могли не появиться на свет. В переломный момент, после многих десятилетий полностью извращенного восприятия, общественный вкус должен был родиться заново и пройти все стадии созревания. Детский возраст общественного самосознания требовал и детской литературы (в этом нет ничего обидного), такой, где без всяких полутонов, четко и однозначно говорилось бы, где друг, а где враг, кто герой, а кто предатель, кто за наших, кто за немцев, что такое хорошо и что такое плохо.

По счастливому (в таком несчастье) стечению обстоятельств, эти книги были написаны людьми, которые *имели право* на решающее суждение, потому что сами чудом уцелели, пройдя всё самое страшное, что только может быть на свете. Это было противоестественно, что они выжили и сохранили душевное здоровье, и талант видения, и чувство слова (неважно, в бóльшей или меньшей степени), всего этого оказалось у них достаточно, чтобы ткнуть нас носом в ту ароматную жижу, в которой мы все плавали, и отчетливо и громко сказать: «Дерьмо!»

Но шли годы, общество взрослело и матерело, а литература оставалась в том же детском возрасте, тщательно и всесторонне отработав Оливера Твиста, но так и не перейдя к Тому Сойеру, не говоря уже о Гекльберри Финне.

Это — обычная ситуация: то, что вначале было откровением и двигателем, пережив себя, стало банальностью и тормозом. Я, конечно, ни в коем случае не имею в виду *предмет* разговора. «Банальность страдания» — может ли быть более кошунственное словосочетание?! Тема страдания оставалась актуальной по-прежнему, может быть, даже больше прежнего, так как теперь мы лучше знали круг возможных событий, связанных с тем или иным фактом. Но именно поэтому мемуары, статьи, эссе, точное и ясное изложение фактов и точек зрения мы стали предпочитать попыткам художественной иллюстрации, выполненным по проверенной схеме.

Схема и карикатуры — это, по-видимому, наиболее оперативный, необходимый на первых порах способ отражения действительности. Но только на первых порах. Литература требует литературных, а не событийных открытий. Она требует непрерывного открывания и не терпит заданности, эта заданность и была бы следствием самых благородных побуждений. То, что открыто до написания, не есть уже литератур-

ное открытие. Всё это, впрочем, прописные истины...

И вот одна за другой появляются книги-переростки, сшитые для взрослых, но по детскому покрою, и повисает в воздухе уже требуемая, уже провозглашенная схема: общественная польза, насущные проблемы, сила воздействия, воспитательное значение... Такие знакомые, такие родные слова! «Птолемей вернулся с черного крыльца. Напрасно жгли Джордано Бруно!» (О. Мандельштам).

И вот уже составляются списки лучших (страсть к классификации — природное качество человека, мы все составляем такие списки и перетасовываем их всю жизнь), составляются списки, куда входят те, кто, по мнению составителей, приносят максимальную пользу народу. И «прелестью живой стихов я был полезен...» — всё повторяется.

Утилитаризм и дидактика в искусстве — вещи коварные, от них — один шаг к демагогии.

И, вроде бы, новые герои — а такие же прямолинейные, и, вроде бы, иное направление — а такое же ограниченное, и, казалось бы, подлинные жизненные конфликты — а всё так же запрограммированные и всё так же вынесенные из внутреннего мира героев вовне, в пространство взаимодействия, во чисто поле.

Что больше всего угнетает нового героя? — Социальная несправедливость. Как относится герой к окружающим людям? — По-разному: к хорошим — хорошо, к плохим — плохо. Как относится герой к себе самому? — Сурово. Серьезно. Уважительно...

Получилась странная, на первый взгляд, но по сути дела естественная вещь: новая литература, ратуя за новое идеологическое и даже морально-этическое направление, осталась на прежних *эстетических* позициях. И тут мы приближаемся уже непосредственно к главному предмету, нашего разговора, потому что в том-то всё и дело, что параллельно с литературой

социально-информативного, что ли, плана развивалась и собственно литература, такая, для которой *эстетические* критерии оставались на первом месте. Представители второго направления (это условно, никакого «направления», конечно же, нет) в большой мере воспользовались плодами первого. Им уже не надо было объяснять читателю, что такое хорошо и что такое плохо; те главные истины, доказательству которых раньше посвящались целые книги, теперь могли упоминаться вскользь и даже опускаться как само собой разумеющиеся. И вот в этом промалчивании, в этих паузах и пропусках содержится для нас главная информация. Потому что именно паузы, намеки, недоговоренности, точнее, даже не они сами, а их естественная возможность знаменует собой накопление определенного идейно-художественного багажа, возникновение заведомой общности и равноправия между писателем и читателем, то есть то, что, по-видимому, и определяет *зрелость* литературы. Так или иначе, но произошел акт диалектического отрицания, и вот уже перед нами новое качество, самая новая, новейшая литература, и к ней мы можем подходить безо всяких скидок на трудности роста и жестокую необычайность судьбы авторов.

## 2

Перед нами проза Андрея Битова, писателя, чьи повести и рассказы уже давно и несомненно выдвинули его в первые ряды, а на мой пристрастный взгляд — и гораздо дальше. Но сегодня — случай особый. Мы решительно перепрыгиваем через всю пятнадцатилетнюю работу Битова, более или менее отраженную в печатной критике, чтобы раскрыть его новую книгу, в которой одна только первая часть значительно превышает по объему любую из повестей. А всего

таких частей (разделов, как называет их автор) — три.

И то ли от ощущения всей предстоящей толщины рукописи, то ли от размеренности и неторопливости начала — эпиграф, пролог, опять эпиграф — мы сразу же осознаем важность, значительность, известную итоговость этой книги.

Чего мы ждем от этого чтения? Многого ждем и многое предугадываем. Мы еще не знаем, о чем будет речь, но, тем не менее, хорошо изучив особенности битовской прозы, можем довольно точно (так нам, по крайней мере, кажется) предугадать и основные черты героя, и авторское отношение к тем или иным его поступкам, и, самое главное, ту плотную и теплую атмосферу авторской мысли, в которой будет происходить действие. И что очень важно — эта «ожиданность» полностью нас устраивает, потому что, опять-таки, нам хорошо известно, что Битов, прежде всего, — умный и талантливый собеседник, который не ищет оригинальных тем для разговора, но своей личностью заполняет стандартную оболочку привычной темы.

Таковы были наши предположения, — полагалось бы здесь сказать, — но на этот раз всё оказалось наоборот. И герой — необыкновенный, и авторское отношение — иное, и мысль авторская не существует сама по себе, а растворена в словах и мыслях героя. Но нет, ничего подобного. Все наши предположения, к счастью, оправдались.

И вот мы перелистываем первые страницы романа, и начинается разговор о герое, об извечной тайне его «несуществования», о законном соответствии этой тайны бесконечной тайне материи...

«...И выплывает бабушкино слово «эфир», чуть ли не напоминая нам о том, что и до нас такая тайна была известна, с той лишь разницей, что никто в нее не упирался

с тупым удивлением тех, кто считает мир постижимым, а просто знали, что тут тайна, и полагали ее таковой...

И мы разливаем этот неуловимый эфир в несохранившиеся бабушкины склянки, удивляясь, что тогда каждому уксусу соответствовала своя непраздная форма; мы с удовольствием отмываем слово «флакон» в тепловатой воде, любуясь идеей грани, пока не сверкнет мыльно и хрустально луч детства из высокой пробки и не осветит радужно желтоватую скатерку, вязанную в чьем-то еще более далеком и немыслимом рукодельном детстве, анисовые капли и градусник со старинным цветом ртути, не изменившимся до сих пор лишь в силу преданности таблице элементов и химической верности, и этот радужный луч осветит чью-то тонкую замотанную шею, мамин поцелуй в темя и великий роман «Три мушкетера»...»

Взяв такой радостный, легкий разбег, мы с удовольствием знакомимся с героем, который, как мы и думали, не представляет ничего неожиданного в битовском мире. Хотя, впрочем, как знать... Вот, например, он по происхождению — князь. Академическая среда, кабинет отца, запретный чай через макаронину, мечты о профессорской камилавке, обеспеченном будущем и заслуженной посмертной славе. Отец, деловитый, цветущий, занятой, не умеющий, не нашедший времени научиться делать ребенку «козу». Робеющая, вечно озабоченная мать, мать как мать, лишь бы всё было спокойно и пристойно. Детство, отрочество, юность... нет, отрочества не было. Лёва Одоевцев как-то не запомнил себя в отрочестве. Он «был зачат в «роковом» году», и значит — прикинем в уме — 1949—1953, еще один «роковой» период, никак не отразился в его сознании. Это мы отметим, это не случайно, хотя в чем дело, мы пока не знаем. Но так или иначе, а раз нет у нас Лёвиного субъективного ощущения этого отрезка, значит, и нечего нам тут делать, потому что не в привычках Битова рассказывать читателю исторические анекдоты.

«Мы могли бы лишь подменить эти его годы историческим фоном, но не будем этого делать: столько, сколько нам здесь понадобится, известно уже всем».

Так, не торопясь, расставляя по пути ориентирами множество точных деталей и наблюдений, движется дальше повествование, и мы наслаждаемся естественной скоростью его движения, с радостью следуем за всеми извилами авторской мысли, не рвемся к действию, не стремимся подогнать, а как оно есть, так и хорошо.

### 3

Детство кончилось, отрочества не было, наступила юность героя.

«Смелые юноши вышли на Невский, чтобы уточнить историческое время в деталях. Будем справедливы в отношении их доли».

О чем это? — А это об узких брюках и толстых подошвах.

«И мы им обязаны не только этим (брюками), не только, через годы последовавшей, свободной возможностью их расширения (брюк), но и нелегким общественным привыканием к допустимости другого: другого образа другой мысли другого, чем ты, человека... /.../ и они имеют право, как ветераны, бить себя пьяной культей в грудь, в том смысле, что проливали кровь за советскую водку для финнов и финский терилен для советов.

Да, годы прошли даром, мы лучше оделись, это стоит жизни...

Господи! недопустимо так унижать людей!»

Вот такой поворот. Что-то еще будет?

А Лёва становится старше, и всё у него в порядке, всё, как надо: и брюки по моде, без риска и опережения, «не смешно и не опасно», и всё он знает, что надо ему знать, не больше и не меньше.

«В институте уже в пору «Юности» (журнала) приучился он расправляться в максимальных (оптимальных), но допустимых (допущенных) пределах: *заполнять предоставленный объем*».

Вот он и весь, Лёва: оптимальный, допущенный, разрешенный. И когда он уже в основном сформировался и так удачно получился, и всё было хорошо и прекрасно — появился первый выходец с того света, от Лёвиных именитых предков, «из глубины сибирских руд».

«Куда прешь, падло!» — крикнул он, тыча кулачок в ребро дворнику, и голос его был русский, как у священника».

Дядя Митя, который «воевал во всех войнах, а в остальное время, за небольшими промежутками, сидел», «дядя Диккенс», на котором довоенный костюм выглядит элегантнее Лёвиного, сшитого по английскому журналу, — вот тот человек, вот та личность, появления которой мы, оказывается, ждали с самого начала. Графинчик водки, настоенной на чае, — и безапелляционное «говно» по любому поводу, невообразимая мебель — и безукоризненный вкус, босые ступни на желтом стерильном полу — и дворянский унитаз в прихожей, на котором «сиживал» Бог знает, кто...

Этот удивительный человек написан с такой резкой достоверностью, с такой осязаемостью невозможных качеств, с такой безоговорочной *уверенностью*, что не остается никаких сомнений: он существовал, он был, он не придуман, а вспомнен.

Некоторым уголком своей личности Диккенс уже появлялся однажды у Битова.

«Дядька приоткрыл дверь в кухню, повел носом и сказал:

— Здесь чем-то воняет...

Мама сказала:

— Вечно ты говоришь гадости при ребенке!

— Красивая ты баба, да дура, — сказал дядька, и его шаги удалились по коридору».

(Из рассказа «Фиг», 1959 год).

Там тоже — огромная пустая квартира, профессорская семья, выдающийся дед... Но всё это — крапенько, мельком, шутя, без акцентов. Тогда еще, в двадцать два авторских года, настоящему дяде Мите рано было появляться на свет. Теперь же — в самый раз. И вот существует в литературе некое чудо, которому мы не устаем поражаться. Это чудо — возникновение образа из сопоставления обычных, вполне достоверных и, может быть, прозаических явлений. Заземленность и ненарочитость этого акта, полная самостоятельность каждого из компонентов как бы исключают авторское волевое усилие, наводят на мысль не о рождении даже, а именно о *возникновении*, не о построении, а о *создании*. Это, по-видимому, высшая степень метафоричности, и доступна она только большим художникам.

Вот таким редким случаем органического возникновения и представляется мне дядя Митя, с его нищим изяществом, скребкой полов и щек, бесконечным мытьем и принюхиванием. Это поразительное соответствие внутреннего и внешнего — конечно же, образ, но, конечно же, и действительность. Что здесь что обозначает и что что символизирует: моральная чистота — символ физической или физическая — символ

моральной? Вопрос этот не имеет смысла. Ясно одно: появление дяди Мити привносит в Лёвину жизнь возможность *иного* ракурса, *иной* точки зрения; с этого времени и у Лёвы и у его родителей возникает смутное ощущение некоего абсолюта. О муках совести еще не может быть и речи, ни на какой самоанализ не подвигает своих благополучных соседей одинокий «рантье реабилитанса», но сама идея *чистоты*, такая непривычная в их повседневной жизни, поражает их раз и навсегда своей несомненной реальностью...

## 4

Между тем время идет, Лёва Одоевцев уже учится на филологическом — пошел-таки по стопам отца и знаменитого когда-то деда. И вот как раз дед, еще до рождения Лёвы исчезнувший вроде бы навсегда, становится вторым после дяди Мити и главным в Лёвиной судьбе верстовым столбом, причем, если дядя Митя скромно проплыл мимо, честно и молча выполнив роль указателя, то с дедом Лёве пришлось столкнуться лбом, и боль от этого столкновения осталась в нем навсегда.

Появление деда, Модеста Платоновича Одоевцева, тщательно подготовлено в романе. Эта подготовка идет по нарастающей, вполне закономерно, вполне линейно, выражаясь в точно рассчитанных «ожидаемых неожиданностях». И вдруг сходу вся эта некрутая уютная лесенка оборачивается страшным парадоксом, обрывом, катастрофой...

Сначала простое упоминание о давнем, до рождения Лёвы, аресте деда. Затем — отец, занимающий кафедру деда и «продолжающий его дело» (какое может быть «дело» у лингвиста и филолога, такое, чтобы его «продолжать»? ). Потом — дядя Митя, *оттуда и такой*, а рядом уже всплывают забытые дедовы

статьи, и вот уже Лёва рассматривает старые фотографии, которых в доме оказалось так неожиданно много.

«Куда делись все эти дивные люди? Их больше физически не было в природе. Лёва ни разу не встречал ни на улице, ни даже у себя дома...»

Странная какая вещь. Ведь вот, казалось бы, хорошо воспитанный, приглашенный Лёва, всё делающий хорошо, но не лучше, чем надо, много, но не больше дозволенного, такой Лёва должен был бы нас от себя отвращать, вызывать, что называется, решительное осуждение со стороны последовательного и принципиального читателя. На самом деле ничего такого не происходит. То есть, конечно же, и осуждаем, и отвращает, но всё это направлено не вовне — от нас к Лёве, а вовнутрь — к Лёве, к нам. К примеру, о тех же лицах на фотографиях прямо так и говорится, что они «уязвляют нас с безусловным отличием от нас и неоспоримой принадлежностью к человеку».

Следуя за Лёвой в его взаимодействии с окружающим миром и отождествляя себя с ним, как это и полагается читателю, мы постепенно обнаруживаем, что это отождествление не только художественно оправдано — оно к тому же еще и социально-справедливо!

Произнесем традиционное заклинание. Нас не должен волновать (хотя, конечно же, волнует, и даже очень) вопрос о степени автобиографичности. Речь сейчас не о совпадении тех или иных событий в жизни автора и героя. И вообще не о событиях. Речь идет о типе мышления, об особенностях восприятия, о системе реакции, которые отличают наше общество, точнее, интеллигенцию, еще точнее — поколение, родившееся в «роковом» году или около него. И в этом смысле у нас не остается никаких сомнений в тожде-

ственности Лёвы Одоевцева и автору и каждому из нас, и получается, что Лёва вполне соответствует тому классическому определению «типического героя в типической обстановке», над которым часто иронизирует Битов. Лёва типичен, но, конечно же, не потому, что вобрал в себя различные черты многих людей, а потому, что те стороны его ума и характера, которые могли бы быть сочтены в нем главными, суть главные черты и нашего ума и характера, и предопределенность его поступков, в которой мы каждый раз с неизменным удивлением убеждаемся (Господи, как верно, как точно!), проистекает именно из этого полного соответствия героя оригиналу, который нам ох как хорошо известен. Возникает нечто вроде круговой поруки между автором, героем и читателем, когда то, что принято называть недостатками, воспринимается просто как свойства, о которых можно судить, но которые нельзя осудить, можно ненавидеть, но нельзя уничтожить, поскольку всё это вместе в каждом конкретном случае — есть именно то, что мы собой представляем, и так уж нам, видно, на роду написано...

Вообще, надо было бы отметить, что когда речь идет о прозе Битова, слова «достоинства и недостатки» звучат несколько упрощенно.

Великая война и фантастический террор не могли не повлиять на нашу оценку «положительного» и «отрицательного» в человеке. Мы стали с большой терпимостью, а иногда и с симпатией относиться ко многим естественным человеческим качествам, таким, которые раньше подлежали безоговорочному клеймению и осуждению. И наоборот, такие, например, эпитеты, как «твердокаменный», «кристально-чистый» и даже «беззаветно преданный», вызывают в нас ужас одним своим звучанием. И это не оттого, что смысл этих понятий бывал часто извращен, скорее наоборот, ужас в нас вызывает именно первоначальный, истинный

их смысл. Мы могли убедиться, что сила, решительность, последовательность — всегда потенциально угрожают человечеству, в то время как слабость, нерешительность, непоследовательность — в худшем случае оборачиваются несчастьем для их обладателя. И коль скоро приходится выбирать, то шикарным борцам Хемингуэя, у которых под суровой внешностью, возможно, бьется нежное сердце, мы предпочитаем очкариков и поэтов Сэлинджера, которых тошнит при одной мысли о стрельбе.

Мы дошли до того в своем отрицании, что человека, который под пытками повторяет всё, что захочется палачу, и подписывает всякую бумажку, которую ему подsunут, мы уже не считаем преступником и предателем, жалеем его и сочувствуем ему, насколько хватает нам нашего воображения, и не требуем для него, искалеченного врагами, какого-нибудь еще сверхчеловеческого наказания от друзей.

Мы многому научились за эти десятилетия, и главным образом — страху. Всё мы стали мерить разрушительной силой, всякое явление пересчитывать на человеческие жизни. В этом свете многое стало нам видаться по-иному. Даже такие элементарные понятия, как «преданность идее» и «преданность золотому тельцу», уже не вызывают у нас былой однозначной реакции, потому что, как показывает история, разрушительная сила идеи во много раз превышает разрушительную силу золота. И поэтому, пусть уж человек лучше ворует, чем убивает, а если такое несчастье, что и убивает, то худо, когда ради денег, но в сто раз хуже, если ради идеи.

Всё это я говорю не для того, чтобы оправдать Лёвины несовершенства или, тем более, умилиться им. Лёва еще много будет страдать от собственной неполноценности, и никто не осудит его строже, чем он сам. Но плох он или хорош — он наш типичный

представитель, наш современник, а не какой-нибудь там выродок. Так и должны мы к нему относиться.

Всё, что прежде писал Битов, написано *об этом*, и не в том смысле, что «современник» был «в центре его писательского внимания». Никакого центра, в отличие, например, от периферии, Битов не выбирал, он писал о том, что хорошо знает, и писал правду, и хоть это была *не вся правда*, но отсутствие некоторых, пусть даже очень важных ее сторон никогда не оборачивалось у Битова ложью.

И если мы перечтем лучшие его повести, то увидим, что стилистическое совершенство, психологическая точность и композиционная завершенность этих вещей не позволяют говорить не только о лжи, но даже и об умолчании.

Всё это так. Но, тем не менее, — что играть в прятки! — факт умолчания был. Не в какой-нибудь конкретной повести, а вообще у данного писателя. То, чем мы всегда сегодня живем, то, без чего не обходится ни один — ни один! — более или менее продолжительный разговор, не нашло, что называется, отражения в творчестве Андрея Битова. И только теперь, в нецензурированной книге (что за эпитет такой непостижимый? хочется сказать «в нецензурной» — ведь было же время, когда цензура запрещала, в основном, ругательства!), только в романе, не предназначенном заведомо к пробиванию сквозь издательские дебри, дал себе Битов, наконец, полную свободу. И вот мы читаем этот «роман о бесконечном унижении» и вместе с Лёвой Одоевцевым определяем и уточняем свое отношение к тем Лёвиным загадочным предкам, которые «не поняли и не приняли».

«Лёве трудно было поверить, что они чего-то не понимали, потому что для него, например, то, чего они не понимали, было очевидно, просто, как пареная репа, а вот то, что они понимали, раз писали об этом, — Лёва часто совсем

не понимал, или с великим трудом и напряжением, так что, казалось, слышал в голове шум перегруженно-трущихся мозговых своих частей. Но и опять, прежде всего, оставалось это ощущение подлинности, такое непривычное...»

Подлинность — вот что непривычно, вот что безвозвратно утеряно. Это — главное. И в свете этой потери, а может быть, прямо благодаря ей, мы как-то не очень удивляемся обнаружившемуся вдруг предательству Лёвиного отца. Мы даже ловим себя на том, что, может быть, и не очень-то его осуждаем, скорее жалеем немного, и, несмотря на нашу уже очевидную к нему непричастность, остается какое-то неясное ощущение, что все мы «одним миром мазаны».

«Когда жизнь, пусть в сугубо личных формах мирного времени, но тоже проехала по Лёве (годам к тридцати), а отец выстарился и стал прозрачен, то сквозь эту прозрачность начал Лёва с жалостью и болью всё четче различать такое неискоренимое, такое сущностное родство с отцом, что от иного нелепого отцовского жеста или слова приходилось ему и подлинно отворачиваться к окну, чтобы смахнуть слезу. Сентиментальность была тоже свойственна им обоим».

И поэтому как ни мучительно для Лёвы раскрытие неприглядных семейных тайн, как ни тяжек для него разрыв с отцом, всё это, по существу, не выходит за рамки его жизни, не нарушает ее движения, но лишь корректирует скорость и траекторию. В этих событиях есть драматизм, есть известная доля страданий, но есть и определенная сладость, они не диссонируют, а вплетаются.

Иное дело — встреча с дедом.

Звонит дед, приглашает Лёву; этот звонок как бы рассеивает некоторый успевший уже образоваться туман, и мы с удивлением обнаруживаем, что всё пре-

дыдущее было фактически уточнением, развитием, перекличкой двух жизненных линий; одной реальной, другой воображаемой, Лёвы — и деда, через голову отца, который всё отъезжает и отъезжает на задний план, чтобы в недалеком будущем вовсе исчезнуть из поля зрения. Образ легендарного деда, в профессорской камилавке, обложенного чужими фолиантами и своими гениальными рукописями, абсолютно совпадает с той высшей точкой движения, какую мог представить себе Лёва. После звонка деда с Лёвой еще многое могло случиться, но географически он уже находился вблизи вершины. Оставалось подняться на ступеньку и возложить цветы к обелиску. И когда Лёва занес ногу, чтобы подняться, оказалось, что не только обелиска, но и ступеньки никакой нет, а есть обрыв, куда он и сорвался со своим нелепым букетиком в оттопыренной руке.

Что же оказалось? вернее, чего не оказалось, чего не было в этой встрече из того, что ожидал с таким волнением Лёва? На это можно ответить коротко: не было *праздника*. Лева ждал праздника, а его не было. Его не было уже давно, вся жизнь вокруг была сплошной непраздник, Лёва как-то не заметил этого, прожив двадцать лет в комфортабельном родительском гнездышке.

На месте кожаного кабинета, заваленного фолиантами, оказалась заплеванная, вопиюще грязная комната, с неаппетитными огурцами на мокром столе и... без единой книжной полки. Вместо почтенного ученого — страшный хромой старик с полумертвым лицом (буквально: мертвым наполовину; опять — образ реальности, реальность образа). И наконец, вместо радостного общения «на высшем уровне», вместо торжественно-торопливого обмена замыслами и оценками, вместо нарастающего чувства взаимной близости и обоюдной душевной тонкости, вместо всего этого

— тоска одиночества, пустота отчужденности, острая боль от сознания собственного ничтожества.

«Выпивон» с дедом и его приятелями мало что меняет. У людей развязываются языки, но сами люди не становятся иными. Родство Лёвы и деда только подчеркивает пропасть, лежащую между ними. Какие бы усилия мы ни прилагали, нам не удастся породнить их духовно.

И когда пьяный Лёва слушает своего чужого пьяного деда, и когда этот хромой полумертвый старик пункт за пунктом уничтожает всё то, что составляло Лёвину личность, то мы, конечно же, не имея сил не согласиться с дедом, не восхититься глубиной его мысли и точностью формулировок, все-таки и от Лёвы не можем уже отделиться, и его моральное уничтожение воспринимаем временами как свое собственное.

Так мы мечемся от одного к другому: «Как верно!» и «Как больно!» И то кричим вместе с дедом: «Ты, по-видимому, совершенно искренне — слышишь, Лёвушка, — никогда не бываешь самим собой!», то иронически замечаем вместе с автором: «Так много в нем оказалось этой душевной тонкости, состоящей из ровности голоса, убежденности интонации, честной открытости взгляда», но и чувствуем в то же время, что нам с Лёвой уже никак не приспособиться к деду, и что бы мы теперь ни сказали, всё обернется катастрофой. Потому что того единственного, простого и естественного, что надо было бы сказать, — нет в нашем арсенале, нет и не может быть. Всё предопределено.

«В семени уже предательство! В семени!» — орал, сидя на стуле, дед, не то стонал. — Бескорыстно уже, абстрактно!...»

Но прежде чем раздался этот всё заключающий крик, произошло еще более важное, самое, быть может, важное событие в этом бессобытийном романе. Произошел монолог деда. Я говорю «монолог», потому что не знаю, как еще можно сказать, когда говорит один. Тем не менее, слово это, означающее, по-видимому, нечто театральное, композиционно законченное, плохо соответствует пьяным излияниям изуродованного зэка. Хотя, с другой стороны, если принять во внимание, *что и как* он говорит, то слово это может еще оказаться недостаточно высоким для обозначения той всечеловеческой широты и той, я бы сказал, провиденциальной мощи, которую обнаруживает здесь Лёвин дед.

И тогда приходит на ум другое, почти забытое нами слово: откровение. Без кавычек и в единственном числе.

Поразительна эта резкая предметность, осязаемость каждой мельчайшей детали, полное отсутствие символов — и, вместе с тем, постоянное чувство масштаба, соотношения с целым, общим, неохватным.

В этом романе очень много прямого авторского текста, оговоренного особыми заголовками — и не оговоренного, появляющегося как бы случайно, естественно, по ходу дела. Вместе с тем, всё, что говорит Модест Одоевцев — есть несомненное отражение авторской позиции, или, может быть, точнее, отражение авторских мыслей и подлинных ощущений. Отчего же было не изложить всё это в очередном «курсиве», зачем понадобился Битову этот необыкновенный старик?

Ну, во-первых, конечно же, по сюжету, которого хотя и нет, но который где-то там всё же подразумевается.

Во-вторых, дед, что бы он сам о себе ни говорил,

есть наглядно овеществленное страдание, живая боль, не допускающая отвлечений и интерпретации. Вся выстроенность и подготовленность Лёвы разбивается об эту постоянно ощущаемую боль. Боль — она болит. Здесь тавтология, короткое замыкание. Для риторики нет ни места, ни времени. «Нам важен дед Одоевцев, — говорит Битов, — важен как знак». В мире предельно конкретных, антисимволистических образов Битова это слово должно означать не ограничительное, а, скорее, расширительное качество: *не всего лишь знак, а не только конкретный человек, но и — знак!* И дед оправдывает эту свою миссию как по зримости своего облика, так и по значительности им сказанного, а главное — по физической ощутимости непреходящей боли.

Но кроме всего этого, есть и еще одно обстоятельство, которое кажется мне очень важным.

Андрей Битов — писатель сдержанный. Его многословие происходит не от отсутствия чувства меры, а наоборот, от чрезвычайной его обостренности; это — мучительные поиски точного слова и постоянная неудовлетворенность найденным.

«Так и до сих пор для меня самое большое мучение, что еще ни разу, ни единого, не выразил я что-либо точно, на том пределе, который ощущал, и где-то глубоко у подножия мысли барахтаются мои слова» («Путешествие к другу детства», 1964).

Сдержанность Битова — важнейшая особенность его стиля, в котором недопустимы суетливость, сентиментальность, надрыв...

И поэтому, пожелай Битов от первого лица высказать всё то, что он вложил в уста деда, ему пришлось бы то и дело иронией и двусмысленностью сбивать с текста едва возникающее патетическое пламя, он бы просто физически не смог вынести (а с ним

и читатель) прямой напряженности чувств, уместной разве что в проповеди. Но дед, человек предельной естественности и прямоты, да еще пьяный, может сказать всё что угодно и как угодно, безо всяких оговорок и заходов в тыл собственной фразе.

Кстати сказать, пьянство деда (его пьяное состояние), совершенно естественное в данной ситуации, есть в то же время специальная авторская уловка, о которой Битов сам уведомляет читателя, предлагая ему по своему выбору разбавить сцену всеми атрибутами пьяного разговора. Дед, конечно же, пьян — в том смысле, что язык его развязан, он свободен от всех ограничений и говорит всё, что придет в голову. Но дед и абсолютно трезв, в словах его нет ни одной нечеткости, и это избавляет нас от необходимости гадать, что́ здесь всерьез, а что́ «по пьянке». Здесь *все* всерьез.

«Лет через десять, когда все газеты станут писать как бы тревожно о том, что́ мы делаем с природой, зарабатывая на жирной частности этой темы, кто-нибудь да напишет о том, как совершенны были первобытные способы земледелия по «вписанности» в зачастую предельно экономичную, совершенную цепь природных процессов. Человечество было бедным и прокармливало себя трудясь, не расковыривая кúпола природы, стоя у дверей ее скромно и не помышляя еще о грабеже. Оно могло, подголаживая, выкормить «от пуза» несколько там князей и церковников, их было и не так много, и эта социальная «несправедливость» ничтожна, если учесть, что разность эта необходима человечеству для основания культуры. Накапливая излишества, они невольно создавали образ возможности. Никакое равенство не возведет храм и дворец, не распишет их, не украсит... Культуре нужна база, богатство. Не для удовлетворения потребностей художника — а для подлинного спроса».

Мы слушаем деда Одоевцева и даже не успеваем проверить, не успеваем — да и не хотим — сличить:

а так ли, а согласуется ли, а не противоречит ли? Силовое поле личности захватывает нас, и мы со всем готовы согласиться, всё принять на веру.

Что́ больше всего возмущает деда — подлинного человека — в том картонном мире, представителем которого — пусть косвенным, побочным, непервородным — явился к нему Лёва? Больше всего возмущает его *подмена*.

«Вся сила человеческого духа повернулась в наши дни на истрачивание, отмену, разоблачение и дискредитацию ложных понятий. Весь позитивизм современной духовной жизни негативен».

Что же взамен? А взамен — еще более старые, забытые понятия, которые выдаются за новейшие — и вновь уничтожаются, теперь уже — многократным и бездумным употреблением.

«По невежеству своему вы будете обжираться каждым следующим дозволенным понятием в отдельности — будто оно одно и существует, обжираться до отвращения, до рвоты, до стойкого забытья его... /.../ Это будет такая промышленность — «добыча слова» (так, кажется, уже выразился один поэт)».

Вот вам, говорит дед, ваша свобода. Теперь — очередь равенства и братства.

«...Природа по аристократизму своему выше любого общества, хотя бы по той же «разности потенциалов», накопленной на минимуме энергии. Природу не интересует равенство внутри и междувидовое, ее интересует целесообразность и совершенство. Перед Богом все равны, ей хватает такого равенства».

Дед считает, по-видимому, что равенство — есть хитроумная уловка, лояльный способ уничтожить аристократию духа. Мир физиологического равенства, мир без разности потенциалов, есть бездуховный мир,

где нет места чуду, где всё закономерно и предопределено. И где все во всем *уверены*.

«И живут все в этом доме, из трухи сделанном, на землю просто так положенном, живут так же наверняка, как ложку ко рту подносят, автобус их везет и привозит не куда ему, куда *им* надо, там они что-то делают, неизвестно что, и назад едут — тоже транспорт, и на этот раз их не подводит, приезжают — сразу разбираются, кто где живет, у них это специальными цифирками обозначено, они и помнят, цифирки эти совпадают с тем, что они помнят — они и не перепутываются; два раза в месяц за то, что ездят туда и обратно, им бумажки выдают, и каждый понимает, сколько он их получит...»

С поразительной остротой чувствует дед узость и тесноту духовного пространства, в котором существует наше расчисленное сообщество.

«Справедливо всё до чрезвычайности, заметь! Не надо только нарушать, а надо со-блю-дать! Но главное, система эта обеспечивает счастьем тех, кто в ней находится и за края не высовывается...»

...Ну что за удовольствие жить в этом мире, когда всё так складно получается... Какая кастрюля?.. Откуда картошка?.. Почему — суп?.. Нет, мир *без молитвы* совершенно безнадежен в умственном отношении» (выделено мной. — Ю. К.).

Здесь намечается очень, по-видимому, важная для Битова тема, никогда ранее не названная вслух, а только легким отсветом пробежавшая по прежним его произведениям.

«...Алексей закрыл книгу. Странно было ему. Он что — понял, а что — не понял, *про Бога он пропустил*, но рассуждение о том, откуда же любовь: не от любимой же, такой случайной и крохотной, и не из него же, тоже чрезвычайно небольшого, а если не от нее и не из него, то откуда же? — очень поразило его». (Выделено мной. — Ю. К. «Сад», 1963).

«Господи, сказал я по ошибке, сам того не думая сказать». Битов не любит упоминать имя Господа всуе, и нелепо было бы ожидать от него серьезных теологических рассуждений. Но присутствие Бога в каждом духовном порыве, невозможность существования «мира без молитвы» — всегда подразумевались у Битова, и здесь, в «свободном романе», об этом сказано однозначно. Не имеет значения, какова форма его религиозности. Художник не может быть атеистом — вот что важно. Какова бы ни была форма его веры, он не может не верить, ибо не может не чувствовать *соучастия провиденциальных сил*. Неверующим в искусстве может быть только *уверенный*, то есть лишенный страха Божьего. Но уверенный не может быть художником.

И вот это постоянное ощущение Бога над собой и дает деду Одоевцеву ту необыкновенную духовную силу, ту библейскую универсальность и многозначность, которая поражает нас в каждой его истории.

Да и все эти его рассказы — о прохожем, с удивительной уверенностью ждущем автобуса, «ничего попался, не злой, а то ведь и побить мог, от уверенности», о магазине, где вроде бы ничего и нет, а всего достаточно для еды, о том, как он заблудился и дети признали «своего» старика — всё это своей конкретностью и в то же время многозначностью очень напоминает евангельские притчи, рассказанные на современный лад. Это и есть притчи нашего времени, они хорошо запоминаются и нередко, к слову, приходят на ум.

Поразительна абсолютная *независимость* деда, ему не к кому принаравливать, не перед кем заискивать: ни перед настоящим, ни перед будущим, ни перед «народом», ни перед собственной совестью. «Свобода не демократична, она аристократична», — часто повторял Бердяев. Дед Одоевцев — подлинный ари-

стократ и подлинно свободный человек, в этом секрет его великого достоинства.

«Почему же незаслуженно? — возмущается он. — Я именно заслуженно пострадал... За-слу-жен-но! Меня посадили за дело... /.../ Господи, они еще спрашивают и удивляются, когда, мол, это всё началось? Да давно, давно началось! Когда интеллигент впервые вступил в дверях в разговор с хамом — тогда и началось. Гнать надо, в шею! В отношении меня всё справедливо у этой власти. Я не принадлежу к этим ничтожным, без гордости людям, которых сначала незаслуженно посадили, а теперь заслуженно выпустили. Власть — есть власть. Будь я на ее месте, я бы себя посадил. Единственно, чего я не заслужил — так это вот этого оскорбления реабилитации. Меня уже не страшно: я — шлак...

Это жестокость делать такое с человеком дважды. Сначала изнасиловать, потом заштопать и объявить целкой... Я стал другим человеком и был им все эти двадцать семь лет, я — другой человек! На /.../ мне такая справедливость, чтоб я насильно становился снова тем человеком, каким был тридцать лет назад! /.../ Как смели те же люди, отвершив несправедливость — они же и восстанавливать ее! /.../ В лучшем случае, это цинично: выходит, — они всегда знали, что делают... Сначала всё это было судьбой, теперь — это уже возмездие. Слишком, нельзя столько. Казнь — пожалуйста, возмездие — хоть оставьте Богу!»

Конечно, это всего лишь крик униженного достоинства, но за ним чувствуется такая *правда*, что и без авторских пояснений мы понимаем, насколько дух человеческий выше выражающих его слов. Но пояснения следуют, и они здесь уместны и необходимы, потому что когда дед уже действительно срывается на крик: «Для вас этих моих лет не было! Ваши были, а моих не было! Я должен был вернуться тем, гениальным, сорокалетним, в отложном воротничке!..» — тогда-то как раз бдительная мысль Андрея Битова и дает нам наиболее остро почувствовать всю глубину страданий этого великого человека.

«Деда выворачивало и переворачивало от ничтожности этих слов. Он знал, что хотел сказать — и не мог сказать. Он знал, что не стоит никому ничего говорить — и не мог не говорить. Он раньше всех слышал собственную пошлость, даже если не слышал никто, его стащивало — и не наружу».

И совсем уже убийственная точность:

«Восхищение осколками, периферийным мусором былого здания дедовского духа служило ему дополнительным, непереносимым уже оскорблением».

Круг замкнулся, действующие лица пришли в окончательное взаимное соответствие, а вернее будет сказать — в окончательное несоответствие, несовместимость, полную невозможность сосуществования. И теперь уже окончательно неважно, что скажет Лёва — любые его слова будут оскорблением для деда. И даже обычная в таких случаях сентенция о хирурге, который хоть и режет, но лечит, — неуместна в этой истории, потому что никакого «излечения» Лёвы не последовало. Он был здоров, его не от чего было лечить.

«Раздеваясь, он почувствовал, что стал хуже за этот день», — замечает Битов. Лёва стал хуже, а не лучше, потому что лучше вообще не становятся, потому что жизнь сильна своей инерцией, потому что переменить обстоятельства неизмеримо труднее, чем переменить убеждения — оттого-то, наверное, и убеждения так редко меняются.

Но есть в этой фразе и еще один оттенок, который уже не раз обращал на себя внимание на страницах романа, есть одно слово, которое теперь нельзя не подчеркнуть. Битов не пишет, что Лёва стал хуже, он пишет, что Лёва «почувствовал», как стал хуже. Эта незначительная, казалось бы, оговорка, эта естественная уже для Лёвы рефлексия выдвигает на перед-

ний план тему, которая вообще, на мой взгляд, является главной темой битовской прозы. Это — тема *совести*.

«Дом, честь, достоинство, как и девственность, употребляются лишь один раз в жизни, когда теряются. Им пришлось подсознательно сделать вид, что никакой измены не было, и никогда больше не прикасаться к этому вопросу, чтобы, не дай Бог, не расковырять его и не выпустить на свободу джина совести, *испепеляющей русскую душу со скоростью света*» (выделено мной. — Ю. К.).

Это — об аристократах, к которым по рождению принадлежит Лёва Одоевцев.

Тема совести — традиционная русская тема. Вся наша литература — *об этом*, и все главные проблемы, терзавшие русских писателей на протяжении ста лет, могут быть сведены к взаимоотношениям с совестью. Любые муки может претерпеть русский писатель — нищета, обиды, издевательства — всё выдержит и еще спасибо скажет. Одного он не может терпеть — мук совести. Не может, и оттого постоянно терпит...

И вот я хочу высказать одну мысль, которая представляется мне чрезвычайно важной: что Андрей Битов не только самый *современный* русский писатель, это, по-видимому, уже достаточно очевидно, но и самый *русский* современный писатель. И для этого ему надо быть просто самим собой, быть Андреем Битовым — умным и совестливым человеком, для которого, как и для всякого истинно русского, никакая тяжесть обстоятельств не сравнится с тяжестью *собственной вины*.

Как это всё же удивительно, какой это примечательный парадокс, что самая, может быть, позитивная в этом мире сила — сила художественного творчества — стоит в прямой зависимости от таких негативных понятий, как чувство страха, стыда, вины, — в конечном счете, чувства собственной слабости. Есть

в этой закономерности какая-то высшая, внечеловеческая справедливость, всеобщая отрицательная обратная связь, не позволяющая миру идти вразнос от собственных творческих усилий. Если до предела упростить это положение, сведя его к краткому парадоксу, то можно было бы сказать, что только слабость порождает силу, сила же — бесплодна и может рассчитывать на продолжение рода не иначе, как удочерив слабость. Но тут же, конечно, начинается свистопляска с терминологией: что считать силой, а что слабостью, и я предпочитаю не лезть в эти дебри, из которых еще никто не выбирался живым...

## 6

«Версия и вариант» — так называются главы, призванные подчеркнуть неизбежность происходящего. Всё могло быть иначе и всё равно было бы так же. Лёва мог расти совсем в иной семье и совсем в другой обстановке — и, в конце концов, пришел бы к той же узловой точке романа. Одну только деталь упорно оставляет автор за Лёвиными родителями — аристократическое происхождение.

Отчего так волнует Битова судьба и роль русской аристократии? Отчего он снова и снова напоминает нам о высоком происхождении Лёвы Одоевцева, о княжеском его титуле, который, конечно же, не может иметь никакого значения в нашей до отказа задемократизированной жизни? Мне кажется, оттого взята эта тема, что аристократия — единственная в веках сложившаяся *форма*, которая могла и должна была противостоять хамству. Именно аристократия, а не интеллигенция, интеллигенция — понятие рыхлое и спорное, аристократия — бесспорное и фундаментальное. Интеллигенция всегда тяготеет к передовым идеям своего времени, аристократия же является дер-

жательницей вполне консервативных духовных и материальных ценностей, которые она и обязана была защитить. Этой своей исторической функции аристократия не выполнила.

«У аристократии не было *идеи* — идея стала принадлежать разночинцам...

Они (аристократы) уступили брезгливо и высокомерно, лишь в буквальном борьбе, по нормам достоинства и чести, не подозревая длинноты предстоящей жизни. И за это автор презирает аристократию всюю сутью своего плебейства, которому не досталось.

Они не предполагали, что им предстоит жизнь, им пришлось с этим столкнуться».

Как же повели они себя в новой жизни, лишённые титулов и привилегий?

«Не могло быть ни одной оплошности, ни единой промашки — безукоризненность была единственным выходом. Они должны были быть безукоризненны по форме, на работе и дома, чтобы не столкнуться, еще раз и окончательно, с жизнью.

...И в конце концов, остался им один лишь, в шорах, взгляд перед собой — всё было обшито, кроме этих двух дырочек в заборе. Шея уже не поворачивалась, как у человека, сломавшего ее себе на прекрасных широкополых скачках юности, а постоянный корсет придавал их осанке еще более прямизны и благородства».

И вот оказывается, что «совсем необязательно было непременно расти в атмосфере тайного предательства, чтобы получить Лёвой». Достаточно было бы простого неучастия, достаточно честного и прямого взгляда, не скошенного вбок, в область ужасов и страданий.

«...Но они, по свойствам своего ума, совершенно честно и искренне не видели в этой жизни тех коллизий, в которых

наличие у них долга, чести и совести неизбежно привело бы их к трагическому концу. Это был феномен честного везения.

...Они ничего не приняли — и они приняли всё».

И если попадались Лёве на глаза отвратительные «черты времени», то

«почему такие именно черты, чего именно эти черты, где и когда эти черты — тщательно скрывалось. Возможно, что это скрывалось уже и не только от Лёвы, но и, прежде всего, от себя.

Ах, если прибавить к этому Лёвиному образованию начальное и среднее, где, в свою очередь, преподавали телегу не только без лошади, но и без колес, чтобы не ездил... то получается букет, то получается компот, то получается такой розанчик в туповатых ботинках, в мамосшитой курточке на молнии с комсомольским значком на фальшивом кармашке!»

Так и хочется крикнуть: стойте, это же не Лёва, это же я, это мы, это мы все, хотя и, видит Бог, — отнюдь не княжеского роду!

Но вот Лёва готов. Он может выходить в жизнь. Вот он снова встречается с дедом, затем дед умирает, «вокруг его похорон происходит всё та же торжественность и свадьба — и вот мы снова в той же точке романа».

Эту вторую биографию Лёвы автор подает как вариант, как альтернативу первой. На самом деле она лишь дополняет и уточняет «подлинную» историю, делая объемным и выпуклым то, что прежде казалось плоским и неясным.

И теперь уже Лёва готов окончательно, и начинается новая про него история, в которой главную роль играют женщины (мальчик вырос...), женщины — и Митишатьев.

Кто такой Митишатъев? Митишатъев — это вроде бы некое злое начало, которое не противостоит Лёве (в этом случае мы должны были бы признать Лёву добрым началом, а он таковым, конечно же, не является), но обвивает его как змея, проникает в него повсеместно и постоянно всасывает, впитывает его в себя. Митишатъев — бес, и оттого он вьется вокруг Лёвы и встречается всюду на его пути, что ведь и Лёва — не праведник, а очень даже подходящий объект для растления и совращения.

И вот начинается эта жуткая история с кольцом Фаины, где сплетаются в тесный клубок любовь и ненависть, застенчивость и нахальство, порок и добродетель, радость и отчаяние, преступление и наказание — и какие еще бывают пары?

И опять это у Битова: разделяемая, но не разделенная любовь, и неотделимая от этой любви кража, в «Саде» — во имя, здесь — в отместку, это всё равно, это дела не меняет....

Но самое главное, что герой, которого мы по старой шкале никак не вправе назвать отрицательным, потому что полностью понимаем его, сочувствуем и желаем ему добра и никогда не решимся поднять на него руку за его беспринципность и аморальность, а если бы и решились, то почувствовали бы, что бьем себя кулаком в грудь (современный вариант Дориана Грея), этот наш герой, наш Лёва, всё больше и больше обрастает всяческой грязью, вырастает и впитывается в окружающее дерьмо и если и пытается ему противодействовать, то изнутри, из дерьма же. В отличие от своих родителей, Лёва уже начисто лишен возможности существовать «в замкнутой системе самообеспечения», и остается ему от них только способность не замечать того, чего не надо замечать, и «всё очень грамотно и логично объяснять, прежде чем поду-

мать». И вечная борьба его с Митишатьевым сводится к ощущению, что хотя он еще и тут, с нами, что он всё еще Лёва, но отчасти и сам уже — Митишатьев.

«...Пытаясь бороться с врагами их же оружием, то есть, в свою очередь, предавая их, Лёве никак не удавалось переиграть их, перещеголять в предательстве... Это вовсе не означает, что чистая его натура выводила его и не давала пачкаться — это лишь в сравнении с ними обстояло так... Незаметно для себя он оказывался по ту сторону, и уже потихоньку был способен совершать по отношению других то, от чего страдал сам».

Тема вины по-прежнему отчетливо звучит в романе, но и она всё больше приобретает оттенок необратимости, и мы начинаем замечать, что, может быть, из простого чувства самосохранения немного — самую малость — отодвигаемся от Лёвы, по-прежнему рядом, но всё же на расстоянии, чтобы он, чего доброго, не зацепил нас с собой, когда будет проваливаться в преисподнюю.

«...Вот так, подвигаясь по миллиметру, с невыразимыми мучениями (что еще никогда ни для кого не было оправданием) всё более к краю, должен был Лёва и свалиться, и оказаться в том большом и набитом людьми зале (вокзал), где состоялось бы торжественное закрытие души Лёвы Одоевцева!»

И уже автор, по-прежнему сочувствуя Лёве и понимая его, не очень-то ему доверяет и порой перекладывает на свои многотрудные плечи заботу о его совести.

«Никто не виноват, что жизненность воплощается в наше время в самых отвратительных и, прежде всего, подлых формах. Никто не виноват, потому что все виноваты, а когда виноваты все, прежде всего виноват ты сам.

Но жизнь уже строится по такому костяку, чтобы люди

никогда не сознавали своей вины, этим способом и будет воплощен рай на земле, самое счастливое общество».

Это сказано прекрасно, но это сказано автором, Лёва — теперешний — этого сказать уже не мог бы.

Ну — нет, так нет, не можем же мы укорять автора за эту Лёвину разрыхленность, за расплывчатость его характера. Таков Лёва, автор не брал на себя обязательства написать железного парня, к примеру, Левинсона или Павку Корчагина. Но боль в том, что другая расплывчатость, другая разрыхленность начинает беспокоить нас при чтении второго и третьего разделов.

Перед нами проходят уже упоминавшиеся Лёвины женщины: Фаина, единственная, всегда желанная (потрясающе написанная вечеринка с мучительной ревностью и кражей кольца, вездесущий Митишатьев, которого нельзя вынести, но от которого и невозможно избавиться); затем Альбина; и, наконец, Любаша, совсем уже неважная и незаметная.

И вот, читая такие достоверные, такие насыщенные чувством и действием страницы о Фаине, всё более, казалось бы, убеждаясь в ее необходимости как персонажа и в Лёвиной к ней вечной любви, мы всё же чувствуем, что сама Фаина никак не складывается в реальное лицо, а так и остается абстракцией, символом, необходимой точкой приложения.

И, конечно, автор понимает это не хуже нашего.

«Возможно, что таить, и Фаина была сначала миниатюрной брюнеткой, а потом большой блондинкой, но для меня как автора они сливаются хотя бы для того, чтобы как-то сфокусировать расплывчатую Лёвину жизнь в прозаическое изображение и хоть как-то справиться с задачей.

Да что там говорить, и Митишатьев не один... В общем, мы берем на себя грех условности, четко объединяя Фаин — в Фаину, Альбин — в Альбину, Митишатьевых — в

Митишатьева... заменяя множество маленьких стрелок одной большой и жирной.

Итак, мы себя в своей творческой слабости полностью оправдываем, стараясь тут же обратить ее в нашу силу».

Но вот этого-то как раз и не надо было делать.

Не надо было ничего объяснять.

Битов всегда есть Битов. Никакие слабости не могут скомпрометировать Битова в глазах его читателей. Мы могли бы сказать о нем теми же словами, какими он сам говорит о дяде Мите: что у него «и недостатки были чертою и их можно было любить. Личность!»

Положа руку на сердце, мы вполне могли бы примириться и с *такой* Фаиной, могли бы принять ее как должное и не желать ничего взамен. И если что нам и мешает, так это настойчивые попытки объяснить и оправдать, попытки, которые и далее следуют всё в большем количестве и оборачиваются, в конце концов, мучительно затянутыми последними главами, где курсивы, разрядки, прописные буквы и восклицательные знаки только ослабляют текст, разрывая его на части, растаскивая на отдельные, не связанные между собой куски.

По счастью, куски эти как бы сами выпадают из общего строя, что позволяет нам легко и естественно исключить их из обсуждения. Мы, конечно, не вправе изменить композицию романа, но разговор о нем мы можем вести в любом порядке. И мы переходим теперь к главе «Дуэль Тютчева», главе, выходящей, казалось бы, за рамки повествования, но в которой сплелось столь многое, что невозможно и перечислить.

Прежде всего, она имеет решающее значение для утверждения Лёвы как личности, потому что в ней мы находим несомненное доказательство существования у него ума и таланта.

Глава эта впервые сталкивает нас вплотную с *профессией* Лёвы, которая играет немаловажную роль в романе и о которой до сих пор (до конца второго раздела) говорилось совсем немного и лишь в общих чертах.

Вопрос о профессии героя — специфический вопрос современной литературы вообще и русской в особенности.

Вся наша жизнь всё более и более связывается с профессиональной деятельностью. Дифференцировка общества по сословиям и классам фактически уже заменилась дифференцировкой по специальностям. Современное наше общество производительно, производственно, профессионально. Все расставлены по местам, у каждого своя ячейка, свой опознавательный знак. Ни ячейка, ни знак могут вовсе нам не импонировать, не соответствовать нашему внутреннему миру, противоречить ему, уничтожать его, но они есть и никуда нам от них не деться. Тем более, что могут и соответствовать, бывают ведь и такие случаи...

Так или иначе, профессия — то первое, что мы узнаем о человеке, чуть ли не раньше имени и фамилии. Хуже или лучше, всерьез или понарошку — мы все специалисты, все профессионалы, все — трудящиеся. Женщины не избежали общей участи.

«Кто это?» — спрашивали когда-то прежде. И отвечали: «Князь такой-то» или «Воронежский помещик» или, в крайнем случае, «адвокат» — с ударным нерусским «о». Редко, когда мелькал инженер: строитель или путеец.

«Кто это?» — спрашивают теперь. И отвечают... Ну, тут список бесконечен.

И как бы мы ни презирали «производственные» романы недалекого прошлого, следовало бы нам признать, что они плохи не тем, что производственные, а

тем, что плохие. Вся литература теперь — производственная, в том смысле, что она не может не касаться профессиональной деятельности.

И вот я хочу высказать такую реакционную мысль, вполне, может быть, согласную с официальной точкой зрения. Мне кажется, что современный художник, а особенно писатель, а особенно русский — непременно должен, просто обязан, знать хотя бы одну «положительную» профессию. И не только знать, но и владеть ею. Только в этом случае им может быть достигнуто равновесие с окружающей средой, необходимое для точного ощущения реальности.

Тут, конечно, возможны всякие исключения. Например, писатель, который ограничивает круг своих героев людьми искусства. Однако мне лично такой случай что-то не представляется убедительным.

И тут важно вовсе не «уважение ко всякому труду» («уважайте труд уборщиц!» — кто же не уважает труд, не маленькие ведь!), важно, скорее, обратное: только профессиональные знания могут избавить человека искусства от пиетета по отношению к неизвестным ему и таким снаружи таинственным профессиям. И тут достаточно знать одну, чтобы не падать ниц перед остальными.

Вспомним, хотя бы, бесчисленные романы, фильмы и пьесы об ученых, где тщеславная бездарь крадет открытие (или чертежи) у одинокого гениального фанатика; где к пожилому ученому обращаются, как в студенческих анекдотах, «профессор», как будто это звание дается взамен имени-отчества; где старый академик и молодой аспирант за рюмкой водки решают проблему фотонной ракеты на уровне приложения к газете «Известия»; и где целый институт с плохо скрываемым волнением ждет решающего эксперимента, после которого станет окончательно ясно, стоило ли жить на свете (выясняется, что стоило)...

Но вернемся к Битову. Я уже дал однажды клятву не касаться личности автора. Теперь я ее с легким сердцем нарушаю. Мне, например, чрезвычайно важно знать, что Битов по образованию — инженер, что он, худо-бедно, имеет представление и о математике, и о физике, и о пресловутом сопромате, что он знает, отчего течет ток, и чем занимаются (и чем не занимаются) в загадочных «почтовых ящиках». И я вполне допускаю, что были времена, когда он проклинал свою первую профессию и всю связанную с ней работу за то драгоценное время и совсем уже бесценные душевные силы, которые она отнимала у литературы, но я, в то же время, нисколько не сомневаюсь в наличии у него чувства благодарности по отношению к своему традиционно-халтурному специальному образованию, к своей непрошенной работе «по распределению» (если она была), к вынужденному, не туристскому общению с техниками и работягами.

Что дал ему этот недолгий опыт? Знание жизни? Да, но не только. Он дал ему чувство равновесия с окружающими людьми, дал способность переливать не только из себя — в них, но и из них — в себя, и он дал ему, наконец, чувство меры, позволяющее с достоинством и юмором, без пренебрежения, но и без излишнего пиетета, говорить о любой профессиональной деятельности.

«Пушкинский дом» — роман о филологе, и то, что он филолог и потомок филологов, не менее важно, чем то, что он потомок князей.

Мы уже слышали от автора о его одаренности, слышали мимоходом упомянутое название статьи: «Три «пророка»\*, слышали, но не очень-то верили в то, что реальность Лёвиной работы сможет приблизиться

---

\* См.: Андрей Битов. Три «пророка». — «Вопросы литературы», № 7, 1976.

к реальности его самого как героя романа. И вот — произошло чудо материализации, и статья эта — перед нами, как «объективная реальность, данная нам в приложении».

Собственно, перед нами не сама статья, а ее пересказ, но это как раз еще интереснее.

«Статья эта, — замечает Битов, — не о Пушкине, не о Лермонтове, и, тем более, не о Тютчеве, а о нем, Лёве».

И не о Лёве, а о нем, Битове, — так и хочется нам добавить. Но мы не станем этого делать, это была бы непозволительная вольность, а главное, неправда. Конечно же, отложив в сторону книгу, мы можем с уверенностью сказать, что все это написал Битов. Не Бог весть, какое открытие. Но если мы не хотим прорывать тонкую оболочку повествования и вылезать за его пределы, то нам придется признать, что статья «Три «пророка» написана Лёвой, именно Лёвой Одоевцевым, а не Андреем Битовым. «Я рад всегда заметить разность между Онегиным и мной».

Мы уже читали «приложение» к 1-му разделу — рассказы дяди Диккенса, но там низкий, так сказать, профессиональный уровень и особенности стиля делали очевидной «непричастность» Битова. Как это ему удалось — другой вопрос. Но ведь и «проза Диккенса» должна была продемонстрировать лишь моральную чистоту и чисто человеческую одаренность ее автора.

Иное дело «Три «пророка». Здесь ситуация приближается к той, которая уже возникала однажды с дедом.

«Работа была, мягко говоря, не вполне научна, но, пожалуй, талантлива и написана хорошо по-русски, таким летящим, вызывающим слогом, но главное, что и поразило, что и произвело... была внутренняя свобода».

Это очень высокая оценка в устах Битова, и «соответствие» ей должно было потребовать от него максимальной отдачи сил, и так оно, видимо, и случилось в действительности. Тут уж любая, самая искусная стилизация привела бы к фальши и снижению уровня разговора и единственной возможностью оказалась та, которую он избрал: изложение, пересказ, со своими авторскими, как всегда, чуть насмешливыми, но, в общем, вполне доброжелательными комментариями. Автор не отмежевался от своего героя, но и сумел с ним не слиться, с честью миновав еще одно узкое место повествования. Это во-первых. Во-вторых, Битов, избежав необходимости приводить чисто научную статью, позволяет себе роскошь и на этот раз остаться самим собой, не изменить ни одному из своих писательских качеств и сохранить, таким образом, стилистическое единство этой вставной главы со всем повествованием в целом.

Глава «Дуэль Тютчева» написана словно бы на одном дыхании, с удивительным даже для Битова постоянством напряженности мысли и таланта. Здесь, впервые, может быть, сам Битов выражает уверенность в ценности написанного, смягченную, впрочем, уже объявленным авторством Лёвы.

«Научная основа статьи жидковата, но не в ней дело: Лёва много сказал от себя и достаточно ценно».

Начинается Лёвина статья с остроумной подтаковки, с одного из многих мистико-математических обобщений, связующих числа и судьбы.

«Человек с 27 лет начинает ведать, что творит. Полное сознание подвигает его на единственные поступки.

Перед ним три дорожки, как перед богатырем. Бог, чёрт или человек. Или, может быть, Бог, человек, смерть.

Пушкин выбрал Бога, Лермонтов предпочел смерть

прерывности. Тютчев продолжал жить прерывно. Загробное существование.

Научная основа, действительно, жидковата. Ну, и Бог с ней, с научной основой. Главное — то, что, с самого начала, все в этой статье органично и внутренне непротиворечиво, а оттого — убедительно.

Три стихотворения трех поэтов, написанные в одном и том же возрасте на одну и ту же ключевую тему — впечатляющее совпадение!

И вот уже каждую строфу лермонтовского «Пророка» воспринимаешь не иначе, как по-Лёвиному: две первые строчки — гордые, пушкинские, зрелые, а две вторые — жалобные, лермонтовские, детские.

И уже невозможно себе представить, что «Безумие» Тютчева написано иначе, как в ответ на пушкинского «Пророка» — ответ тайный, насмешливый, злой...

«Пушкин отражал мир... Лермонтов отражает себя в мире открыто, у него нет за пазухой... Тютчев более обоих искусствен, он скрывает. («Молчи, скрывайся и таи» — гениальные стихи, в том же тридцатом году: их тоже привязал Лёва к своей мельнице)».

Таких ремарок «привязал к мельнице» — много в этой главе, и они, как ни странно, ничего не принижают и не обесценивают, а наоборот, в силу закона парадоксальности, сообщают всему сказанному реальный объем, психологическую живость и человеческую теплоту.

«Так рассуждал Лёва», — говорит автор, и это позволяет ему как бы нейтрализовать академичность материала, избежать щекотливого положения, когда всякая вольность по отношению к канонизированному гению может быть воспринята как претензия или даже цинизм.

Только однажды, может быть, дистанция сокращается до нуля. Это когда Лёва говорит о мастерстве Тютчева.

«Он, такой всем владеющий, не выражает себя, а сам оказывается выраженным.

Так заключает Лёва, пытаясь сформулировать некий парадокс мастерства: ...Только откровенность — неуловима и невидима, она — поэзия; неоткровенность, самая искусная — зрима, это печать, каинова печать мастерства, кстати, близкого и современного нам по духу».

Здесь происходит короткое замыкание между автором и героем романа — слишком уж велика напряженность поля, слишком важна для Битова эта второй уже раз и с одинаковым нажимом высказываемая им мысль. Автор выдает себя и не скрывает этого. «Некий парадокс мастерства», сформулированный Лёвой, уже высказан ранее Битовым в предисловии к «прозе Диккенса».

«Что же мы узнаем из этого листика, если в нем нет сплетни? Стиль. «Тайну», о которой мы говорили, несет в себе стиль, а не сюжет... Потому что стиль есть отпечаток души столь же единичный, как отпечаток пальца есть паспорт преступника. И здесь мы приходим к давно любезной нам мысли, что никакого таланта нет — есть только человек... Так, хорошие и умные — талантливые, а плохие и глупые — нет.

...И никогда еще (что нас постоянно утешает) никто не сумел скрыть ничего в слове: и если он лгал — слово его выдавало, а если ведал правду и говорил ее — то оно к нему приходило...

Чистого человека всегда найдет слово, и он будет, хоть на мгновение, талантлив. В этом смысле про «талант» нам внятно лишь одно: что он — от Бога».

Этот «обратный повтор» важен нам не только для подтверждения и усиления, он важен, главным образом, как некоторая морально-этическая программа Битова, как критерий его отношения к литературе — и не только к литературе.

Профессия писателя — говорить правду. У пишущего человека просто нет другого выхода, и любые попытки утаить и замаскировать оборачиваются «каи-

новой печатью» — мастерства и не мастерства — это уже другой вопрос. Талант и ум, талант и искренность, талант и чистота — неразделимы. Они — от Бога, и это очень важно для Битова, и очень важно для нас, потому что без ясного ощущения этого художественно-этического единства мы никогда не сможем понять Битова как писателя.

В статье Лёвы главное не то, что Тютчев завидовал Пушкину, а то, что завидовал тайно, завидуя, скрывал это и всячески маскировал.

Поэты вообще — народ завистливый. Можно проследить много цепочек зависти — и доброй, и злой — и все они оканчиваются на Пушкине. Весь XIX век в русской литературе шел от Пушкина, в том смысле, что если и уходил совершенно в иное направление, то имея все ту же отправную точку. Одни, как, может быть, Тютчев, подтягивали себя к нему, другие, как Достоевский, подтягивали его к себе. Но Тютчев был, несомненно, самой значительной личностью в после-пушкинской поэзии, он-то всегда казался наиболее самостоятельной величиной и думалось, что таким он был с самого начала.

Мы как-то привыкли считать, что, вопреки фактам, Тютчев вообще жил после Пушкина, кстати сказать, интереснейшие статьи Тынянова только усиливают это ощущение.

В отдельной сноске Битов замечает, что Лёва в момент написания статьи не читал работу Тынянова «Пушкин и Тютчев», так как она была переиздана только недавно. Конечно, филолог Одоевцев (не прозаик Битов) мог бы прочесть сборник «Архаисты и новаторы», изданный в 29-м году. Но прочел он статью или не прочел — это дела не меняет, в плагиате его все равно не обвинишь. Статья Тынянова фактически совсем о другом. Она — о пренебрежительном отношении Пушкина к поэзии Тютчева — и только. Конечно, статья эта замечательна уже самой возможностью

такой постановки вопросов. Не говоря о прочих ее достоинствах. Но Тынянов подходит к этой теме как объективный ученый, Тютчев ничего не теряет в его глазах, поскольку такой антагонизм, по мнению Тынянова, естествен при смене литературных поколений.

«Все они и могли-то наследовать своим предшественникам только потому, что смещали их стиль, смещали их жанры».

Это сказано в другой статье, не конкретно о Пушкине и Тютчеве, но и при анализе тютчевской поэзии Тынянов постоянно имеет в виду такую смену. Это как раз и соответствует нашему интуитивному ощущению, что Пушкин и Тютчев не были современниками, что Тютчев был после Пушкина, то есть только после. Но дальше этого Тынянов не шел. То же самое стихотворение «Безумие» могло бы, на его взгляд, явиться, например, «вполне точным ответом на один из частных вопросов романтической философии: может ли быть дано мистическое познание природы не только во сне, но и в безумии». Скажем прямо — довольно скучная функция.

Показательно, что Тынянову, специально изучавшему взаимоотношения двух поэтов, даже в голову не могло прийти связать иронические строки Тютчева с Пушкиным. Стихотворение «Иным достался от природы...» он даже цитирует в отдельной статье о Тютчеве — но, на этот раз, для того, чтобы показать использование варваризмов. Несмотря на признание и программное провозглашение борьбы поколений, Тынянов слишком высоко ценил Тютчева, слишком уверенно признавал его отдельно стоящей величиной, чтобы хоть на минуту заподозрить в тайной зависти и скрытой злости.

Впрочем, иногда кажется, что и Тынянов что-то

подозревал, и только добросовестность ученого не позволила ему...

«Вопрос о Тютчеве» — называется его статья. О Пушкине — «Пушкин», о Блоке — «Блок», а тут — «Вопрос о Тютчеве». Задумаешься! И характеристики, которые он дает тютчевским стихам — «поэзия о поэзии», «догматический фрагмент» — тоже не Бог весть какие заманчивые. И похвалы его Тютчеву — скорее честная констатация ученого, нежели восторги вдохновенного читателя...

Лёву же (и Битова) напрямик, в открытую, интересуется та сторона, противоположная: не Пушкин — к Тютчеву, а Тютчев — к Пушкину. И тут важны не зависть и обида («и мнит, что может слышать воды...»), не злость даже («мир, мир тебе, о тень поэта!» в смысле «лежи, лежи!»), тут важна именно неоткровенность, неискренность, и, как следствие — уничтожение откровенности.

«Тютчев — как убийца Пушкина» — вот неожиданный вывод, который делает Лёва.

«Далее Лёва называет слово «дуэль» и долго и красиво ездит на нем от предложения к предложению, сшивает, как челнок в швейной машине».

«Лёва заключает, что со смертью Пушкина в поэзии победил Тютчев. Что это была дуэль, в которой Дантесом был Тютчев. Дух пушкинской поэзии был убит в неясной и неравной борьбе».

Где-то здесь маячит ерническая ремарка Битова: «Это уж слишком! — восклицаем мы», которая в силу все того же парадоксального закона с несомненностью выдает «авторство автора».

Потому что к этому моменту мы уже полностью поверили Лёве, мы забыли все свои прежние впечатления, убеждения, толкования, вернее же, все наши прежние впечатления уже начали работать на Лёвину

идею, неожиданно для нас самих оказались привязанными «к его мельнице». «Да, да, — говорим мы, — ведь точно же, ведь именно же так!»

И что удивительно: статья Лёвы, замечательная сама по себе и, как мне кажется, задуманная Битовым отдельно и задолго до романа (может быть, именно в 27-летнем возрасте — почему бы и нет?), прекрасно ложится в русло повествования и выглядит в нем органичнее иных специально написанных глав.

Перед нами снова яркая и психологически напряженная притча, где разыгрываются все основные положения битовского мировоззрения. Это, словно бы, такой публичный диспут. Что есть талант? — задаем мы схоластический вопрос Андрею Битову, и он в ответ рассказывает нам историю, в которой действуют известные нам лица, но в необычной ситуации и в неожиданной функции. Он рассказывает историю и даже сам формулирует мораль, чтобы мы не утруждали свои драгоценные головы мучительным размышлением. Но мы, все-таки, утруждаем, потому что история — сложнее морали, и если, с научной точки зрения, она еще может вызвать возражения, то с точки зрения человеческой — несомненна.

Да и что такое в литературе «научная точка зрения»? Так называемая наука филология доказательна лишь в той степени, в какой она является искусством. В искусстве же могут быть истинными и противоположные утверждения. Для того чтобы в этом убедиться, достаточно собрать воедино те отличительные качества, за которые ценят филологи великих и признанных. Верность традиции — и разрушение традиции, стилистическая строгость — и стилистическая свобода, композиционная цельность — и нарушение композиции, лексическое единство — и внедрение прозаизмов, насыщенность — и прозрачность, целостность и фрагментарность, гармония — и дисгармония — все эти взаимно противоположные качества равно сви-

детельствуют о величии, как могли бы свидетельствовать о ничтожестве.

Здесь ясно одно: талантливость есть мера убедительности.

А вот мы прочли статью Лёвы Одоевцева — и полностью ею убеждены, и не надо нам иных версий, мы просто знать о них не хотим!

И когда мы вот так горячимся и отстаиваем истинность и новизну сделанного Лёвой открытия, в этот как раз момент Андрей Битов — удивительный, всё же, мыслитель! — выливает на наши головы ушат холодной воды. Его многословный иронический ум не может допустить, чтобы идея стала догмой. Даже если это его собственная идея. Тем более, если собственная...

«Мы думаем, что если бы версия, подобная Лёвиной, могла бы получить столь же широкое и предписанное распространение, как и существующая за «научную», то она бы быстро стала столь же скучна и безвкусна, как все легенды о прогрессивной преемственности, о дружбе великих людей, об эстафете поколений и прометеевом огне...»

Не успокоившись на этом, он хватается за шиворот несчастного Лёву и решительно низвергает его с олимпийских высот, на которых тот только что с несомненностью находился.

«Ах, если бы это был Лёва! (а не Тютчев). То он бы обнял, то он бы прижал к сердцу Александра Сергеевича — но хватит, он уже обнимал раз своего дедушку.

Тютчев же — на своем месте. Он так же не заметил, что с ним стрелялся Лёва, как Пушкин (если Лёва прав) не заметил, что с ним стрелялся Тютчев».

Каждому свое. Мы не в силах сделать из Сальери Моцарта. Но Сальери, не убивший (физически) Моцарта, а силой мастерства, силой наработанных качеств

сумевший подняться на максимальную высоту, доступную простому смертному (не Моцарту) — такой Сальери достоин уважения.

Нет, положительно, чем больше веришь в Лёвину версию, тем больше хочется защитить Тютчева от его нападков. Впрочем, Битов сделал это не хуже нашего.

А остается последнее: уничтожение пушкинского духа в поэзии. Но теперь, по трезвом размышлении, мы действительно вынуждены заметить, что «это уж слишком». Это у Лёвы всего лишь красивая фраза. То есть она, конечно, имеет смысл и даже очень подходит для характеристики существа дела, особенно, если иметь в виду поэзию современную. Всё так, только Тютчев здесь ни при чем.

Настоящий Сальери, может быть, и убил настоящего Моцарта, но уж моцартовского духа в музыке он не убивал. Тем не менее, второго Моцарта не появилось.

Дух пушкинской поэзии был убит вместе с Пушкиным, не раньше и не позже, он один мог быть носителем этого духа. У русской поэзии не было другого Пушкина, и ей ничего другого не оставалось, как идти иным путем, путем посильного таланта и отточенного мастерства.

Вот такие и многие другие мысли возникают при чтении Лёвиной статьи, и, в конце концов, мы приходим к отправному пункту — к Лёве, который все это написал. Все происшедшее с ним ранее и могущее произойти в дальнейшем приобретает теперь особый смысл, особую значительность, во всех событиях отныне чувствуется повышенная напряженность, иная цена.

Потому что теперь мы уже точно знаем, что Лёва не просто рефлексирующий неврастеник, сумевший недурно устроиться (хотя и это тоже) — мы знаем, что он талантлив. И вот здесь-то намечается, еще

не очень ясно, первый мостик между ним — и дедом, первая точка их духовного, подлинного, не формального родства.

Лёва талантлив, умен, проницателен, он прекрасно понимает и чувствует поэзию, мало того, в его сознании несовместимы гений и злодейство, гений и ложь, гений и нечистая совесть. Он многое мог бы сделать, если бы не... Чёрт его знает, если бы не что. Если бы не воспитание, если бы не окружение, если бы другой характер, если бы Лёва был не Лёва, а Россия была бы не Россия, и читали бы мы совсем другой роман, посасывая сигару и попивая виски с содовой...

Но Лёва есть Лёва, и в вечной системе «Моцарт и Сальери», где каждый, кроме настоящего Моцарта, играет двойную роль, ему находится вполне определенное место.

Пушкин — Тютчев, Тютчев — Лёва... Короткая эта цепочка их здесь не обрывается, потому что и на Лёву нашелся свой Сальери. Что ж, в конце концов, Лёва заработал право хоть какое-то время побыть Моцартом.

Итак: Пушкин — Тютчев, Тютчев — Лёва, Лёва — Митишатьев...

## 9

Митишатьев появляется всегда неожиданно и так же неожиданно исчезает. Он всплывает в самых различных ситуациях, с неизменным успехом осуществляя свою черную миссию: сперва растлить Лёву, приобщить его к всеобщему злу, затем обмануть, унижить и уничтожить. Он постоянный обновитель и реставратор Лёвиной боли. Каждый раз добавляющий ему новую муку: муку обиды, ревности, унижения, бессилия. При этом самое ужасное для Лёвы — это то, что ему никуда от Митишатьева не деться. Митишатьев

вездесущ. Лёвины родители могли еще жить в замкнутой системе, Лёва же — обречен на взаимодействие, а значит, и на постоянную зависимость от них, т. е. от Митишатъева. У него просто иного выхода нет, потому что любое его противодействие есть уже проявление такой зависимости.

Митишатъев вездесущ, и автор объясняет это тем, что он не один, что Митишатъевых много, что конкретный Митишатъев — всего лишь равнодействующая некоторых сил, точкой приложения которых является Лёва.

Честно говоря, мы не можем в это поверить. Это противоречит принципам нашего восприятия, у нас просто органа такого нет, чтобы воспринимать героя, состоящего из многих.

Митишатъев есть Митишатъев, он, может быть, и не одинок, но он — один. С другой стороны, не вызывает сомнений, что Митишатъев, в отличие от Лёвы, является носителем идеи, именно потому сила на его стороне. У Митишатъева есть цель, может быть, не сверхзадача, но всё же конкретная цель в каждой конкретной ситуации, он для себя определен и поэтому выходит победителем.

Вот он появляется в Пушкинском доме, широко улыбаясь, входит в храм литературы в сопровождении бесцветного своего спутника, по иронии судьбы оказывающегося бароном, он уверенно поднимается по мраморным лестницам — и «дежурный» Лёва рад ему от души, и эта искренняя радость стосковавшегося и измученного одиночеством Лёвы — есть уже победа над ним Митишатъева.

Потому что по всей логике, по всем идеологическим канонам, не должен Лёва радоваться Митишатъеву, не должен, а вот — радуется!

«Выпили. Лёва ощутил тепло и приятность, глаза его повлажнили. — Что бы я без тебя делал? — сказал он Мишашатьеву».

И так естественны в этой ситуации (князь Одоевцев, барон фон Готтих) разглагольствования Мишашатьева об аристократизме, что и не поймешь сразу — сочувствует или издевается. «Соскучились люди никого не уважать и всего бояться. Уважать им охота. А тут чего проще — князь... Не страшно».

Очень примечательное рассуждение.

Все прогрессивные социальные движения прошлого отставали как раз противоположный принцип: уважать за заслуги, а не за происхождение. Новое общество, движимое этими демократическими и гуманистическими соображениями, уничтожило наследственные титулы и заменило их титулами персональными — вроде личного дворянства. Но результат получился неожиданный и отнюдь не гуманистический.

Раньше можно было сказать: это князь. Может быть, умен — может быть, глуп. Образован — наверняка. Князь — без сомнения. Был, есть и будет.

Теперь говорят: народный артист, герой труда, лауреат премии, профессор. Что это значит? Ничего. Может быть умен, может быть, глуп. Может быть, образован, может быть, темен; может быть, князь, может быть жлоб и т. д. до бесконечности.

Но это бы еще ничего.

Прежде князь был князем, мещанин мещанином, крестьянин крестьянином. Никто не мог изменить свое происхождение — это было бы все равно, что изменить прошлое. Каждый был вправе гордиться своим происхождением или стыдиться его — но изменить не мог. Теперь же появилась возможность для каждого стать князем. И началась великая борьба, которая никогда не может прекратиться, потому что нет права наследования, и дети должны снова завоевывать

и захватывать, топча и оттесняя ближнего своего. И все это непрочно, все опять на время, и опять страх — потерять, да и совесть — тоже бывает...

И Митишатъев, который достаточно умен, чтобы все это понимать, недаром так радуется Лёвиному унижению, он чувствует, что Лёвин-то титул — несомненен, и даже сейчас, здесь, в этом пустом музее, разговаривая с Лёвой, постоянно ощущает в нем присутствие чего-то изначального и бесспорного.

И унижение Лёвы, а заодно и случившегося здесь Готтиха, становится все более явным. Митишатъев играет ими, как пешками. Он ломает комедию, куражится и юродствует. Он разыгрывает «сцену из рыцарских времен», «заставляя их стоя распивать «маленькую», князь и барон — до чего же красиво!

«Ну, можете сесть. Всё, вообразили и хватит. Больше такого вам не представится, поверьте мне. Или, может быть, ты надеешься на реставрацию? А, Лёва?»

И совсем уже прямолинейная, совсем уже басенная иллюстрация, которую позволяет себе здесь Битов: барон фон Готтих, пишущий праздничные стихи в газеты «не то о Матренах, не то о мартенах...»

Так невесело радуется Митишатъев, и Лёва послушно ему подыгрывает и ничего такого, вроде бы, не замечает, как не замечает он своего происхождения, как не должен он его замечать, потому что оно у него — есть.

Они пьют водку и зубоскалят, и звонит телефон. Лёва снимает трубку — и вдруг происходит чудовищный фокус-покус, и перед нами уже — два Лёвы, и один пьет с Митишатъевым, а другой разговаривает с Бланком, и два этих Лёвы несовместимы друг с другом, как несовместимы Бланк — и Митишатъев.

Да что за человек такой — Бланк?!

Такой человек... Исаия Борисович Бланк.

Но сначала — еще два слова о Митишатъеве. Появлению Бланка, говорит Битов, мог предшествовать такой, например, разговор о евреях:

« — Что же ты имеешь против них?

— Евреи портят наших женщин, — твердо сказал Митишатъев.

— Как так?

— А так. Потом они — бездарны. Это неталантливый народ.

— Ну, уж это ты извини!.. А как же...

— Только не говори мне ничего про скрипочку.

— Причем тут скрипочка? — Лёва вдруг рассердился и перечислил поэтов.

Митишатъев их всех отверг.

— Ну, а Фет? От Фета-то ты не отречешься?

— Фета оклеветали.

— Ну, а Пушкин? — озарило Лёву. — Как — Пушкин?

— Причем тут Пушкин? — пожал плечами Митишатъев. — Он — арап.

— А арап — знаешь, что? Эфиоп! А эфиопы — семиты. Пушкин — черный семит!..»

Битов, конечно, не мог пройти мимо этой темы. Не должен был пройти.

Если когда-нибудь наступят лучшие времена, обществу нашему придется долго тренироваться, прежде чем оно научится не стыдяться, не глядя в сторону, не проглатывая гласных и не понижая голоса, произносить это неприличное слово «еврей». Пусть тогда вспомнят Андрея Битова, его достоинство и чувство меры, позволяющее не придумывать то, чего нет, но и не игнорировать то, что очевидно.

Митишатъев, конечно же, антисемит — это так естественно. Но так же естественно, что никакой серьезный разговор на эту тему между ним и Лёвой невозможен.

«Преодолевать — потерпеть поражение, потому что признать».

И поэтому Битов не тратит пороха на противодействие, которое могло бы придать антисемитизму Митишатъева значительность и права гражданства, не выделяет это его убеждение из общего ряда качеств, но наоборот, подчеркивает его принадлежность к этому монотонному ряду, его заурядность.

«Тут, — замечает он в скобках, — должна быть глава самых разных и в то время одинаковых разговоров о поэзии, о свободе, о буржуазности, о либерализме, о Боге, о России, о русском человеке и т. д. — набор идеологических штампов, групповая пошлость...»

Но еврейство Бланка — только повод для Митишатъева оскорбить и унижить его. Еврейство Бланка никак не связано с Лёвой, оно и не существовало для Лёвы до этого момента. Что же такое Бланк — для Лёвы?

«Бланк был как бы вот какой человек: он не мог подумать плохо о людях».

«Лёва охотно становился тем, кем его хотел видеть Бланк, — человеком «породы», той культуры и порядочности, которые в крови... Лёва подыгрывал, конечно, но это доставляло ему то удовольствие, как будто Лёва вспоминал что-то о себе, и была в этом какая-то не проявившаяся в его жизни правда».

У Н. Я. Мандельштам есть интересное замечание о доброте:

«Когда-то было много добрых людей. Мало того, даже злые притворялись добрыми, потому что так полагалось. Отсюда и лицемерие, и фальшь — великие пороки прошлого, разоблаченные критическим реализмом в конце XIX века. Результат этих разоблачений оказался неожиданным:

добряки вывелись. Ведь доброта не только врожденное качество — ее нужно культивировать, а это делают, когда на нее есть спрос».

Бланк был для Лёвы тем ограниченным пространством, тем узким полем деятельности, где он мог культивировать доброту и благородство. С Бланком Лёва был иным, нежели с остальными знакомыми, это можно было назвать лицемерием, но кто знает, где был подлинный Лёва — с Бланком или с остальными?

«В этой роли он чувствовал себя естественно и, поскольку давно уже не знал сам, где находится и кто же он, давно доходил до полной достоверности ощущения...»

И вот — на одном конце провода — Бланк, на другом, рядом с Лёвой — Митишатъев. С Бланком говорит один человек, с Митишатъевым — другой. Но и тот — Лёва, и этот — Лёва. Внутри Лёвы должна произойти эта страшная аннигиляция, и боль от нее заранее невыносима.

«И он спускался отпирать Бланку двери, тускнея с каждой ступенькой, и ему хотелось проглотить ключи».

Строгий отчет о дальнейших событиях невозможен. Этого нельзя вынести — ни Лёве, ни читателю. И Битов, который точно угадывает состояние читателя, потому что ему и угадывать ничего не надо, останавливается в этом месте, чтобы перевести дух.

«Что-то я больше не могу. Мне так лень отпирать Бланку. Тем более, что дальше все развивается с какой-то химической неизбежностью. Реакция  $\text{H}_2\text{O} + \text{NaCl} = \text{солёная водичка. Слезы...}$ »

Вопрос с Лёвой решен. Душа его продана Митишатову, и начинается для него какое-то нереальное, бредовое веселье, дьявольский кошмар, мутный омут, где сознание его лишь изредка выплывает на поверхность, чтобы различить багровое лицо оскорбленного Бланка или ощутить в неверных пальцах твердую грань стакана...

«Так пульсировало время и дышало пространство, обозначаемое полустанками «маленьких».

Очень много пьют в этом странном романе. То есть, конечно, факт этот не нуждается в оправдании, ибо, как всем нам хорошо известно, в жизни пьют тоже немало. Но здесь, все же, случай особый. Пьянство — питье — в романе Битова не только точная деталь быта, оно здесь вполне функционально, оно работает на идею.

«...Нас еще упрекнут, что мы здесь разлили много водки... Зато — не крови. Водка — мироносица сюжета...»

«И — правдоносица», — добавим мы от себя. По этому поводу можно много иронизировать, можно рассказывать анекдоты и смеяться до упаду. Но факт остается фактом.

Мы живем в мире, где правда и искренность — редчайшие события, где русский язык, на манер японского, служит не для выражения мыслей, а для их утаивания, где каждый старательно играет взятую на себя роль, каждый хранит свою маленькую скучную тайну и пока трезв — самому себе не проговорится.

И потому единственный, может быть, способ для автора добиться полной откровенности и самораскрытия — это напоить героев. Что Битов и делает.

Пьяный Лёва, потерявший, вроде бы, всякие признаки личности, лишенный идеи, почти лишенный

характера, сохраняет, однако, нечто такое, что и составляет его особенность как героя романа. Он сохраняет двойственность и он сохраняет боль. Эти два Лёвиных качества, два свойства, два чувства тесно связаны одно с другим, но двойственность всё же первичней. И если всякий герой должен быть непременно носителем чего-то, то Лёва есть не носитель идеи или даже характера, а именно носитель двойственности.

И если вспомнить снова Лёвину замечательную статью, то окажется, что Лёва и тут гораздо ближе к Тютчеву, чем к Пушкину.

Конечно, Пушкин тоже далеко не такая цельная и ясная личность, как нам иногда кажется. «И с отвращением читая жизнь мою...» — это ведь не в шутку написано. Но если двойственность Пушкина можно еще рассматривать как слабость великого человека, то для Тютчева она уже начинает становиться определяющим качеством. «О вещая душа моя, / О сердце, полное тревоги, / О как ты бьешься на пороге / Как бы двойного бытия!» — В этом смысле Тютчев гораздо ближе к интеллигенту XX века, рефлексирующему, нервическому, виноватому, с оглядкой движущемуся впереди самого себя, самому себе поминутно заходящему в тыл.

Лёва Одоевцев — носитель двойственности высшего порядка, это как два противостоящих зеркала, где два ряда двойников теряются в двух бесконечных пространствах.

И будь Лёва человеком бездарным, может быть, всё еще было бы не так уж и плохо. Но Лёва талантлив, а значит, по определению Битова, — совестлив. И значит, боль его — неизбежна. Встреча с Бланком выявляет это с максимальной очевидностью.

И драка с Митишатьевым — не дуэль, а обыкновенная драка — происходит не из-за Фаины, как могло нам показаться в первый момент, а всё из-за того же Бланка. Не потому, конечно, что Лёва любит Бланка

больше, чем Фаину. Однако Фаина, в данном случае, — это обида, большая обида, смертельная обида — но и только. Бланк же — это гораздо больше, чем обида, это предательство, это вина, это фатальная невезучесть, несчастливость и ничтожность Лёвы, это вечная его боль, которую провоцирует, которой радуется, над которой измывается Митишатъев.

И поэтому же, мне кажется, кульминация романа не в разлуке в музее, не в дуэли на пистолетах, не в ночном даже споре с Митишатъевым, споре, который имел predetermined исход. Кульминация — в истории с Бланком, во всей совокупной истории, включая жестокий, мифистифельский выпад Митишатъева:

« — Ну, уж я потешился.

— Как — потешился? — опешил и похолодел Лёва.

— Ты уже забыл Бланка? — демонически спросил Митишатъев.

Мука прошла по лицу Лёвы. Он всё отчетливо помнил. Но в таком случае, жить он больше не мог. Ужас сковал его».

Здесь высшая точка напряженности и боли. Отсюда — только вниз и вниз. «Бланк, этот воспаленный очаг Лёвиного предательства...»

Жаль нам Лёву? Не то слово! Что бы мы там ни говорили, но во всех ситуациях, даже когда кажется, что это Лёва обманывает и предает, обманутым и преданным неизменно оказывается он сам. Результат, к которому Лёва постоянно приходит, есть именно обманутость, и даже, еще точнее — «об...сть» (к сожалению, это точное слово нецензурно по любым критериям).

И тот факт, что, в конечном счете, не он об...манывает, а его об...манывают, уже достаточен для того, чтобы он, Лёва, был нам близок и дорог независимо от обстоятельств.

Вот он «обманывает» милиционера, убегает от него после дурацкого сидения на бронзовом льве. Лёва успевает скрыться, но чем это для него оборачивается? Новым мучительным унижением.

«Чего же я так боялся?! — удивлялся Лёва с трезвой простотою, — почему так бежал? От милиционера? Но ведь это именно нелепо бежать от милиционера! Он же как раз ничего и не сделает. Не убьет. Не имеет права убить... Перед собой-то дойти до такого — должно быть очень страшно. Удивительно ведь так бежать».

«Каким дробным ужасом оборачивается отсутствие страха Божьего! — приоткрывая щелочку для духа, восклицал, избежав себя, Лёва. — В страхе я находился — в страхе и нахожусь. Ведь страшно то, что я так страшился и чего! Вместо Бога — милиционера бояться!»

Здесь можно много говорить о страхе как явлении социальном, да у Лёвы и работа такая была: «Середина контраста» — наверняка талантливая, в это мы охотно верим. «Выбор между унижениями, страх унижения большего — страх во всем, страх в с е г о ...»

Но для нас сейчас важнее не это, а то, что Лёва опять оказался в проигрыше, там его и место, туда ему и дорога...

И вот еще что примечательно.

Казалось бы, Митишатъев, этот демонический Лёвин антипод, призванный немедленно заполнять освобождаемое Лёвой пространство, должен выиграть, раз Лёва проиграл. На самом деле — ничего подобного. Такой Битов писатель, что и Митишатъев оказывается у него многослойным, и ему не чуждо чувство боли, и про него можно было бы написать отдельно — если не роман, то уж повесть несомненно. «Страдания немолодого Митишатъева». (Хорошая, кстати, фамилия. Утешатъев, Потешатъев, Мельтешатъев.)

«Порода? Кровь? Что там в крови-то, от этого с ума можно сойти! Ни за что человеку такое... Вот если даже всю власть над людьми сосредоточить в моих руках, не дается мне это превосходство. — Я всегда буду знать, кто они, потому что я из них... Я всегда выходец, тебе всегда принадлежит. Ведь почему мы евреев не любим? Потому что при всех обстоятельствах они — евреи... Мы принадлежность в них не любим, потому что сами не принадлежим».

Это все та же навязчивая тема: обладание — и захват, аристократ — и плебей, Моцарт — и Сальери... Но человека, такое говорящего, уже не выкрасишь одной краской:

«Правило правой руки Митишатъева: — Если человек кажется дерьмом, то он и есть дерьмо».

Митишатъев умен и проницателен, он не простой завистник, он аналитик.

«Смотрю: не сволочь. Ах ты, думаю, чем же ты не сволочь?! Всё как у сволочи, и не сволочь?»

Он бывает просто талантлив, этот Митишатъев.

И как подлинный исторический Сальери был, несомненно, для кого-то Моцартом, так и Митишатъев не может быть последним звеном в этой шаткой двусмысленной цепочке. Для кого-то он тоже Моцарт, может быть, для того же Готтиха...

Один из разделов романа назван Битовым «Герои нашего времени». Так мог бы быть назван и весь роман, и не беда, что название заимствовано, зато оно — точно. Лёва Одоевцев — собирательный образ нашего современника, но не в том школьном смысле, что сборная солянка из всяческих черт и качеств. Он собирателен, потому что собирает, он вбирателен,

он — болевой центр, через который проходят силовые линии, исходящие от людей и событий.

«В одно и то же место уязвляет меня и Фаина, и дед, и Митишатъев, и время — в меня! Значит, есть я — существующая точка боли! Вот там я есть, куда падает в меня всё...»

Так, незаметно для себя и помимо сюжета, через обоюдное ощущение страдания, восстанавливает Лёва утраченное родство с дедом, удостаивается его. Кто знает, может быть, это как раз и есть единственно возможная форма преемственности...

Несколько слов в заключение.

Мы довольно много говорили здесь о романе, но так ничего и не сказали о творческом методе Андрея Битова. Между тем, в такой пространной статье полагалось бы, по всем правилам, проанализировать, хотя бы кратко, литературный стиль автора и затем, выявив те его качества, которые показались бы нам основными, выстроить некоторую «цепочку влияния», куда вошли бы, к примеру, Гоголь, Достоевский, Диккенс, непреременный Пруст, может быть, Бунин, хорошо бы — Джойс и Набоков. Это дало бы нам душевное успокоение, создало бы иллюзию ясности и завершенности.

Однако теперь, после всего, что здесь говорилось, этого сделать уже невозможно. Слишком ясна для нас полная произвольность такого подхода, слишком очевидна бесконечная расплывчатость литературной систематики, где всё на всё похоже и всё сравнимо со всем. Выбор признаков — задача трудная и неоднозначная даже для естественных наук — что уж тут говорить о литературе! И единственный способ придать ей некоторую определенность состоит, на мой

взгляд, в том, чтобы заменить поиски сходства поисками отличия.

Эта вторая задача может очень даже просто оказаться невыполнимой, в отличие от первой, которая выполнима при любых условиях, потому что особенности стиля неотделимы от особенностей личности автора, а эти последние далеко не всегда могут быть сформулированы.

В конце концов нам ничего другого не остается, как выбрать из многих черт одну или две, степень развития которых позволяет считать их определенными для данного писателя.

Что же мы выберем для отличительной характеристики стиля Андрея Битова? Где-то на поверхности явления плетется слово «интеллектуализм», но это слово-маска, слово-упаковка, всеобщий эквивалент, в универсальности которого уже заключена полная его непригодность.

Намного ближе к сути располагается «юмор», но и это слово, в обычном его употреблении, не может нам подойти. Более того, мне хотелось бы сразу же предостеречь будущих исследователей от написания работы под таким, например, названием: «Юмор Андрея Битова». Потому что никакого такого «юмора» у Андрея Битова нет. То есть, нет у него никакого отдельного юмора.

Разумеется, Битов — человек с высоким чувством юмора, это качество всегда при нем, как всегда при Лёве Одоевцеве его высокое происхождение. И если мы выберем наиболее смешные места из книг Битова, то это вовсе не будет означать наилучшую иллюстрацию его чувства юмора. Самый смешной рассказ Битова — «Бездельник» — есть, в то же время и самый серьезный, самый, может быть, глубокий его рассказ. Но если мы попытаемся искусственно отделить в нем смешное от серьезного, то еще неизвестно, в какой из этих частей окажется больше юмора.

Доподлинно известно, что рассказывать смешно могут и люди без юмора. Но еще вопрос, могут ли они рассказывать серьезно.

Тут, как говорит Битов, «мы приходим к давно любезной нам мысли» — что чувство юмора необходимо не столько для того, чтобы писать смешно, сколько для того, чтобы писать не смешно. Что это значит? А вот что.

Чувство юмора есть, в основном, чувство двусмысленности. Тот или иной смысл фразы никогда не бывает ее единственным смыслом. Поэтому всегда существует опасность, что второй смысл будет переразвивать первый, пародировать его и, таким образом — уничтожать. Это особенно актуально в художественной речи, прозаической или поэтической, где многозначность есть основа построения образа. Образ или пародия — вот вопрос, который приходится постоянно решать художнику. Нелепо пытаться избежать двусмысленности: исчезнет одна — появится другая. Образ или пародия — иного пути нет. То есть, может быть, конечно, и то и другое, но тогда пародия неизбежно ослабляет и дискредитирует образ.

Не так-то легко заметить момент, когда точная фраза оборачивается собственной противоположностью, взлет превращается в падение, а трагическое становится смешным. Вот тут-то и выясняется, у кого есть чувство юмора, а у кого — нет.

Только писатель, остро чувствующий всю смысловую многоплановость литературного языка, может, не сломав себе шею, достичь подлинных высот значительности и пафоса.

Андрей Битов — именно такой писатель.

И если теперь попытаться сформулировать главную особенность его литературного стиля, то я сказал бы, что главное — это острое чувство многозначности и многосмысленности, точный учет всех послед-

ствий, всех возможных форм последствия написанного и произнесенного слова.

Оттого так смешно всё, чему он смеется, и оттого так значительно всё, чему он придает значение...

Впрочем, и эти, такие важные для писателя качества, суть всего лишь некоторые из сторон того явления, которое называется «личность художника».

Битов всегда есть Битов — вот в чем секрет.

Дай Бог ему и дальше всюду оставаться самим собой, пусть хватит у него силы выстоять, не противостоя, — только русскому известно, какая это трудная задача.

1972

Владимир ЧЕРНЯВСКИЙ

## ГИБЕЛЬ ГЕРОЕВ

*О творчестве Георгия Владимова*

*Когда я чаял добра, пришло зло;  
когда ожидал света, пришла тьма*

*Иов, 30:26*

### 1

Георгий Владимов вошел в литературу в 1961 году повестью «Большая руда»\*. Сюжет ее бесхитростен: молодой шофер Виктор Пронякин приезжает на заработки в Рудногорск, отчаянно рискует на своем МАЗе из-за лишних ездов и однажды, в непогоду, при крутом подъеме по скользкой глинистой дороге терпит аварию и гибнет...

Несмотря на пугающе производственное название, повесть Владимова всем своим строем как бы полемизировала с пресловутой «производственной» литературой. Это — книга не столько о большой руде и трудовом энтузиазме рудоискателей, сколько о судьбе одного неприкаянного человека, о его одиночестве и трагической смерти. Недаром недоумевающие и рассерженные официозные критики поспешили записать книгу Владимова по ведомству литературы критиче-

---

\* Георгий Владимов. Большая руда. «Новый мир», №7, 1961.

Георгий Владимов. Большая руда. М., «Современник», 1971. Далее цитируется по этому изданию.

ского реализма и западного неореализма. Ортодоксальных критиков рассердила и озадачила неоднозначность героя владимовской повести, его непривычная многоцветность, непохожесть на стандартных черно-белых персонажей соцреалистической литературы...

Своею сложностью, противоречивостью (что и придает ему удивительную жизненную достоверность) главный герой сбил с толку не только вышеупомянутых критиков. Напарникам по шоферской бригаде Пронякин кажется карьеристом и стяжателем — только потому, что делает лишние ездки на своем легком МАЗе. Но он вынужден так поступать, чтобы заработать как следует (ведь МАЗ берет всего лишь один ковш грунта), и в этой вынужденности — истинная причина его «выпендривания» перед начальством. Намыкавшись вдосталь по миру («Намотался, намыкался, поверх головы хватит»), Виктор Пронякин хочет, наконец, «навсегда определиться» к месту: «...я себе жилы вытяну и на кулак намотаю, а выбьюсь». Ему до чёртиков надоело «валяться по чужим углам, слушать чужую храпотню»... — да не одному, а с «женулькой», которую он собирается вызвать к себе... И только равнодушие, невнимание к чужой, не похожей на них личности заставляет других шоферов видеть в нем человека, «который за четвертную перед начальством выпендривается». Если бы они попытались проникнуть в его внутренний мир, захотели узнать — не ради праздного любопытства, а из желания понять, — его предысторию, они, быть может, поняли бы свою ошибку. Они узнали бы, например, что он в свое время ушел от невесты, пренебрег ее хоромами, всем ее добром, оттого что его оттолкнул именно ненавистный ему дух эгоистического стяжательства («Она себе нужная»), а в «женулке» привлекла близкая ему неприкаянность, привлек дух скитальчества, то, что вся ее жизнь, как «проезжая дорога»... Будь внимательней и тоньше бригадир Мацуев, он сообра-

зил бы, что обыкновенный карьерист и стяжатель никогда не стал бы так любовно и самозабвенно воскрешать к жизни разбитый вдребезги его предшественником МАЗ, как это делает Пронякин в одной из первых, ключевых сцен повести...

В том-то и дело, что Пронякин — не «черный» и «не белый», он нормальный, то есть противоречивый, а потому выглядит белой вороной, раздражает и ожесточает людей, интересы которых сводятся к формуле «были бы гроши да харчи хороши».

Безусловно, Пронякин хочет хорошо зарабатывать, чтобы жить не хуже того же Мацуева. Но он способен и на далекую от рационалистического расчета мечту. Именно он убеждает начальника карьера Хомякова, что не нынче, так завтра большая руда непременно будет. И разве не он — несмотря на смертельный риск — ради самоутверждения и маленького праздника души, везет первую руду тому же Хомякову, чтобы воочию убедился:

«Сказать жenuльке, не поверит, — подумал он печально. — И правда, уж сколько мы с тобою мыкались, сколько крохоборничали, что и поверить теперь трудно, хотя ты меня и знаешь... Но ведь хлопцы-то подтвердят, хлопцы же врать не станут?» (стр. 80-81).

Гибель героя при крушении на размытой дождем крутизне карьера заставила даже «хлопцев» задуматься: кто виноват в случившейся беде? Пронякин, дождь, жёсткие расценки или собственное их безразличие?..

Пронякин удивительно не типичен для так называемого положительного героя, ибо одинок. Единственное близкое ему на карьере существо — его машина («...тот же человек, только говорить не умеет»); его отношение к ней поистине одухотворенное; о ней, о том, что загубил ее, думает он перед утратой созна-

ния... Будучи одинок, он остро чувствует одиночество и неприкаянность другого. В грубом, казалось бы, замкнутом, невеселом человеке кроются запасы не растроченной теплоты и человечности. Достаточно вспомнить его неожиданно щемяще нежное (про себя произносимое) — «женулька», или как он согрел теплым словом (а потом и ватником в непогоду) девушку-газировщицу, помог задуматься о своей жизни, выбрать что-то другое... От внимательного читателя не укроется и то, как сочувственно смотрит Пронякин... на трудную борьбу яблонек, уцепившихся за край карьера, и то, как он слушает грозу («Он закинул руку с письмом за голову, и курил, и слушал, как шумит гроза»).

Характерна для Пронякина и его предсмертная просьба к девушке из рудоуправления — Рите — по-толковать с «женулькой», когда та приедет, утешить, посоветовать, как жить дальше: «...мужиков-то хватает, а жалеть по-настоящему, как я жалел, то навряд ли кто найдет...» (жалел, т. е. в народном понимании — любил).

Характерно и то, что Пронякин — с его внутренним тактом — тотчас понимает и досадует на себя, что не по адресу обратился: уж очень не подходящий человек эта Рита для такого тонкого, душевного дела. Уж очень она искусственная и слишком любит громкие слова, чего Пронякин (а с ним и автор) терпеть не может. В больнице, перед умирающим Пронякиным, она, точно корреспондент из газеты, талдычит ему про «тайну» Курской магнитной аномалии, которой он-де теперь овладел:

«Вы не жертва, вы победитель»... «Вы жили так же чисто, как и... совершили свой подвиг. ...Вы, наверное, были охвачены порывом, правда?» А он досадливо отмахивается: «Ладно, пусть будет порыв, ежели вам так нравится. Только мне бы уж не о себе думать...» (не о себе!) (стр. 92).

Боязнь громких слов — от внутреннего целомудрия, душевной стыдливости. Вот он везет большую руду (в которую-то, может, единственный и верил до конца) и сам себе говорит, что не касается его, для чего ведутся поиски: «Но это, наверное, и не моего ума дело, мое дело только везти, ну, вот, я и везу» (стр. 80). И потому-то и кажутся кощунственными торжества по поводу открытия большой руды, что совершаются они без Пронякина, для которого — веришь — руда была не только «кино, и артисты, и масло в магазине...»

Погиб — при всей своей антигероичности — герой, и все эти ненавистные ему громкие, трескучие, штампованные речи под занавес звучат как пародия, откровенная пародия. Откровенно пародийна и концовка, начисто опровергающая благополучные концовки производственных книг.

Администрация и газетчики решили увековечить героя Пронякина на фото. Но

«...клише пришлось изготовить со старой фотографии Пронякина... На этой фотографии... подретушировали прическу, отчего он и вышел на снимке жгучим брюнетом». Этот номер хранится у многих в Рудногорске, и очень юный брюнет в модном галстуке, с папироской в углу рта странно выделяется среди комбинезонов и ватников.

И мало кто помнит его таким, каким он был в тот сентябрьский ветреный день, когда он стоял на поверхности земли, над чашей карьера» (стр. 110).

Последние слова, по принципу кольцевого обрамления, связывают воедино начало и конец повести, помогая лучше уразуметь ее телеологию — целе направленность всех ее деталей, композиции, стилевых элементов. Таков, к примеру, «сквозной» образ куска руды — цвета запекшейся крови, ассоциативно связанный с трагическим концом героя.

«Тень (облака. — В. Ч.), — читаем мы в начале книги, — проползла по холмистому дну карьера, подернутому дымкой, — через россыпи желтого песка, голубовато-свинцовой глины и обломки расколотых глыб цвета запекшейся крови (стр. 7)...».

И — незадолго до катастрофы:

«Осколок (руды. В. Ч.) лежал на ладони... и цвет у него был странный: издали грязно-бурый, как запекшаяся кровь...»

И — в больнице, когда пришедший с друзьями навестить Пронякина бригадир Мацуев

«инстинктивно потер ладони о ватник, точно под слоем неотмытого масла почувствовал неотмытую кровь на руках, которыми высвобождал из тисков разбитую голову Пронякина»... (стр. 85).

В своей гениальной «Психологии искусства» Л. С. Выготский сделал и обосновал революционный вывод о том, что, вопреки укоренившимся представлениям, в подлинно художественном произведении форма не только не соответствует содержанию, но наоборот — «форма воюет с содержанием, борется с ним, преодолевает его», и «в этом диалектическом противоречии содержания и формы как будто заключается истинный психологический смысл нашей эстетической реакции»\*. Анализируемая нами книга лишней раз подтверждает эту глубочайшую мысль Выготского. Формой изложения писатель как бы преодолевает сопротивление положенного в основу повести сугубо прозаического, серого, будничного материала, заставляя сконструированный им «аппарат тяжелее воздуха» подняться в небо искусства.

Всё, что говорится и — главное, как говорится о людях и событиях, как бы погашает, вытесняет впечатление унылой прозы бытия, заставляет увидеть не

---

\* Л. С. Выготский. Психология искусства. М., «Искусство», 1965, стр. 210.

только хмурое небо над головой и чавкающую глину под ногами, но и нечто неизмеримо большее — золотую руду любящего и страдающего человеческого сердца...

Тот же Выготский остроумно и многозначительно заметил:

«Если бы стихотворение о грусти не имело никакой другой задачи, как заразить нас авторской грустью, это было бы очень грустно для искусства... Искусство относится к жизни, как вино к винограду... искусство берет свой материал, но дает сверх этого материала нечто такое, что в свойствах этого материала еще не содержится»\*.

Если бы Владимов хотел — и умел — заразить нас лишь чувством безысходности, неустроенности, одиночества, грусти, то это было бы очень грустно для его книги. Но как подлинный художник он сумел дать нечто «сверх этого материала», показать нам иные горизонты. Особенно остро проявилось это в мастерски написанной сцене кончины Пронякина. В последних видениях, мыслях и чувствах героя проступает нечто метафизическое, запредельное, хоть он, по словам автора, и не верит в Бога. Это внутреннее приобщение к вечности придает особую значительность уходящему из жизни Пронякину:

«...среди ночи он проснулся с тревожным ощущением, что с ним сейчас, вот через минуту, что-то произойдет» (стр. 103). «Если бы он мог увидеть сейчас свое лицо, он бы узнал, что трудная складка возле его рта наконец разгладилась».

Ну что ж, они для того и оставили тебя, чтобы ты побыл один, если уж всё равно ничего не поделаешь. Подумай, ведь ты и работу выбрал себе такую, чтобы быть одному в кабине, наедине с машиной и дорогой. Так и теперь случилось. *Но если ты жил, хотел и добивался, если ты что-то*

---

\* Там же, стр. 318.

*делал и любил то, что ты делаешь, и кому-нибудь становилось от этого теплее, тогда ты можешь умереть один в темной комнате, не сказав никому ни слова прощания или раскаяния»* (стр. 104; выделено мною. — В. Ч.).

Уже одно это паскалевское одиночество человека наедине со смертью, но столь просветленное, столь возвышенное, — уже одно это «реабилитирует» Пронякина перед судом самого придирчивого читателя и самого предубежденного критика. Ибо «грубый», «алчный» и «неинтеллектуальный» Пронякин был движим *любовью* к людям, к делу, ко всему сущему (как был ею движим столь же одинокий и никем не понятый Руслан); на пороге небытия люди не лгут, да Пронякин-то и раньше не лгал. Только *всё это* было в глубоком подтексте его неудавшейся тяжелой жизни, которая провела трудную складку возле его рта...

А теперь эта складка разгладилась, и он вышел в смерть, как в распахнутые настезь ворота, ощутив внезапно, вместо тяжести, легкость отрешенности:

«Внезапно кто-то невидимый рванул койку и приподнял ее на метр от пола... И вдруг она поплыла вперед, как лодка, и бесшумно преодолела пределы комнаты. Подул ветер, и тьма начала проясняться, приобретая серо-голубой цвет глины в карьере. Он плыл, покачиваясь, в эту даль... Он чувствовал только, что его несет на деревья, и обрадовался. И это было последней радостью. Потом что-то прохладное, шелковистое окутало ему лицо, и он подумал, что это листья, холодные и трепещущие от ветра» (стр. 105-106).

Этой высоко поэтической, пронзительно болевой нотой завершается мелодия земного бытия Пронякина, и именно она, эта нота, — есть тот катарсис, который вносит последнюю, высшую, освобождающую и очищающую гармонию в хаос, возникший в нашей душе, измученной, истерзанной чужой болью, но теперь тоже успокоившейся...

Через восемь лет, в 1969 году, тоже в «Новом мире» (№№ 7, 8, 9), был опубликован роман Владимова «Три минуты молчания»\*. К сожалению, произведение это не выдерживает сравнения с «Большой рудой». Хотя писателя по-прежнему волнуют проблемы человечности, отношения героя к делу, взаимоотношений личности и коллектива, смысла жизни вообще, полноценного художественного произведения не получилось. Мелькают персонажи, будни, конфликты, но всё это не соединяется в единую художественную картину. Несмотря на ряд по-владимовски сильных сцен, роман скатывается на уровень «морского очерка», «судового дневника»... Знакомясь с историей Сеньки Шалая (рассказанной от первого лица), веришь, что всё так и было: и те, кого моряки именуют «бичами», и пьянка с ограблением, и Лиля-«интеллигентка», и Клавка Перевощикова, и вынужденный уход в море, и «дед» — боцман, и студенты — «салаги», и спасение «иностранца», которое могло стоить гибели траулера. Но читая обо всем этом, мы не в силах отделаться от впечатления, что добросовестно-натуралистическое описание моряцких буден стало для писателя самоцелью. Может быть, этим в некоторой степени объясняется и незakonное пользование профессиональным жаргоном: зашифрованное письмо для посвященных, которое вызывает лишь чувство досады. Например:

«А мы, времени не теряя, разносили нижнюю шкаторину по стреле, которая теперь стала гиком, и привязывали гика-шкот за утку на фальшборте. Те трое еще и еще подпрыгивали и перехватывали фал, передняя шкаторина ползла, вытягивалась вдоль мачты, и постепенно складки рас-

---

\* Отдельное издание: Георгий Владимов. Три минуты молчания. Роман. М., «Современник», 1976.

правлялись, уже начали набиваться ветром, уже и гик начал дергаться, и наконец передняя шкоторина вытянулась вся, ударилась в оковку топенанта»... (№9, стр. 53)

Конечно, «майнать», «вирать», «кайлать», «порядок» и т. п. — словечки, обиходные для Сеньки Шалая, но одно лишь щеголянье ими, *без чего-то другого*, еще не делает психологически убедительным портрет героя. В известном смысле попав в плен избранной им художественной формы рассказа от первого лица (заранее лимитирующей авторские права), Владимов не сумел дать достаточно убедительный портрет героя. В нем есть что-то от Пронякина — он честен, смел, немногословен, грубоват, старается поступать по совести, не думая о последствиях для себя (так, обрубив на свой страх и риск сети, он помог получившему пробоину кораблю прийти на помощь «иностранцу» — после трех бесконечных минут молчания в ответ на его отчаянные призывы). Он и одинок, и неприкаян, как Пронякин, о чем и говорит ему Клавка: «Один посреди поля...» Но на этом сходство и кончается: нет стержня, нет «идеи», на которой держится характер, и потому мы плохо видим героя, и потому роман рассыпается на ряд самостоятельных эпизодов, которые из него можно и вынуть... Поступки героя плохо мотивированы, и совсем уж не похож на Владимова фальшивый конец романа (точно вписанный за него рукою редактора) — любовный «хэппи энд» и решение вернуться в море: «стране ведь нужна рыба»...

Но не станем так уж винить писателя в постигшей его, на наш взгляд, творческой неудаче. Думается, она была предопределена крайне неблагоприятной обстановкой, сложившейся к периоду создания книги. Чувствуется, что писателю хочется многое сказать, многим поделиться с читателем, но то, что и как он говорит, — лишь вторичное, лишь производное от других,

не зависящих от него факторов. И потому не удается свести концы с концами, и потому непонятно: для чего в сущности всё это написано?

Впрочем, многое разъясняет письмо Владимова Президиуму IV съезда писателей (26.5.67)\*, свидетельствующее о том, что писатель находился тогда — при всей ясности своих симпатий — в состоянии творческого распутья, что он лишь находился на пути к окончательному выбору, который привел его к вершине — к «Верному Руслану»...

Напомним, что замечательное письмо Владимова написано в защиту Солженицына и во славу Самиздата. Между прочим, в этом письме, явно имея в виду «Руслана» (сейчас, во всяком случае, это не вызывает сомнений), Владимов сказал, что и его «вещь усыновлена «Самиздатом», не найдя пристанища в печати». (Тогда повесть ходила в Самиздате анонимно.) Далее он отметил бесспорный факт существования в СССР двух видов искусства:

«Одно — свободное и непринужденное, каким ему и полагается быть, распространение и воздействие которого зависит лишь от его истинных художественных достоинств, и другое — признанное и оплачиваемое, не только угнетенное в той или иной степени, не только стесненное, а подчас и изувеченное всяческими компрачикосами, среди которых первым на пути писателя становится его же собственный «внутренний редактор», — наверное, самый страшный, ибо он убивает дитя еще в утробе. Которое из этих двух искусств победит — предвидеть не трудно. И волей-неволей, но приходится уже сейчас делать выбор — на какую же сторону из них мы встанем, которое же из них поддержим и отстоим» (стр. 27-28).

Призывая печатать произведения Самиздата, «пока они не стали достоянием зарубежных издательств,

---

\* Александр Солженицын. Собрание сочинений. Том шестой. Изд-во «Посев». Далее цит. по этому изданию.

что было бы весьма прискорбно для нашего престижа», Владимов давал суммарную оценку этих — ему известных — произведений:

«Ничего антинародного в них нет, — об этом ни один художник, здравый умом, никогда и не помыслит, — но в них есть дыхание таланта, и яркость, и блеск раскрепощенной художественной формы, в них присутствует любовь к человеку и подлинное знание жизни. А подчас в них слышится боль и гнев за свое отечество, горечь и ненависть к его врагам, прикидывающимся ярыми его друзьями и охранителями» (стр. 28).

Эти прекрасные, гордые, точные слова можно полностью отнести и к «Верному Руслану», о котором стали втайне поговаривать с 1965 года. Но, видимо, как художник Владимов сделал тот выбор, о котором он говорит в своем «Письме», окончательно лишь к 1975 году, когда, переработав «Руслана» (о характере переработки мы можем только гадать), пустил его в Самиздат уже под своим именем. И в том же году «История караульной собаки» стала достоянием Тамиздата\*...

## 3

«В пять часов утра, как всегда, пробило подъем — молотком об рельс у штабного барака. Перерывистый звон слабо прошел сквозь стекла, намерзшие в два пальца, и скоро затих: холодно было, и надзирателю неохота была долго звонить».

Это начало «Одного дня Ивана Денисовича»...

«Всю ночь выло, качало со скрежетом фонари, брякало наружной щеколдой, а к утру улеглось, успокоилось, и пришел хозяин» (стр. 3).

---

\* Георгий Владимов. Верный Руслан. История караульной собаки. «Грани», № 96, 1975. Отдельное издание: изд-во «Посев», 1975.

Это начало «Руслана»...

Что-то есть в самой мелодике этих двух зачинов настолько схожее, что невольно заставляет задуматься о неслучайности (речь идет о «Руслане») этого сходства. Тут мы прикасаемся к чему-то глубоко сокровенному, уходящему корнями в творческое подсознание писателя, чтобы неожиданно обнаружиться в пульсации фразы, в этих безличных глагольных оборотах, которые непостижимым чудом, подобно камертону, определяют тональность, создают атмосферу произведения. Сравнивая обе книги, лишний раз убеждаешься, что «Руслан» в чем-то очень существенном перекликается с «Иваном Денисовичем», что Владимов по своему творчески развивает и обогащает солженицынскую лагерную тему: на ином жизненном материале, в иную эпоху. Быть может даже, Владимов, высоко ценя Солженицына, сознательно отправляется от его ранней повести. Это подтверждается также разительным внутренним сходством некоторых персонажей, что, конечно, вовсе не означает подражательства (хотя образцам подражать и не зазорно), а объясняется близостью творческих установок, тематической и идейно-художественной близостью...

При всем том «Руслан» — произведение уникальное не только в русской, но и в мировой литературе. Художникам-анималистам прошлого — вроде автора «Белого клыка» — и в голову бы не пришел сюжет, подобный владимовскому: они еще жили в патриархальные, дототалитарные времена — до лагерей, охраняемых собаками. Но даже чешский писатель Людвик Ашкенази в своем великолепном «Бруте», написанном на концлагерно-собачью (нацистскую) тему, не сумел поставить и сотой доли тех общечеловеческих проблем, которые поставил автор «Руслана» (а может, и не задавался ими)...

Прав был Гофман: безумная жизнь обгоняет любую, самую безумную фантазию. Вряд ли даже какой-

нибудь западный Кафка измыслил бы сюжет «Руслана» — для этого ему сначала пришлось бы накопить тот опыт, который ведом только россиянину, пусть даже и не сидевшему в лагерях...

Тема «Руслана» в сущности сформулирована в подзаголовке книги — это история бывшей караульной собаки. Собака, добавим, которая осталась не у дел после роспуска некоего лагеря, предназначалась, за ненадобностью, к ликвидации и только случайно оказалась не пущенной в расход... Тема эта конкретизируется в сюжете, в котором шаг за шагом прослеживается судьба Руслана (судя по описаниям, кавказской овчарки), отвергнутого прежним хозяином-конвоиром, нашедшего временно живой объект для охраны (из числа бывших подконвойных) и трагически погибшего при исполнении «служебных» (как он полагал) обязанностей...

Что касается идеи книги, то она предельно ясно выражена в эпиграфе — «Что вы сделали, господа!» Идея эта поистине грандиозна и выходит далеко за рамки повествования, в котором, как сказал бы Выготский, вода житейских фактов претворяется в вино высокого трагедийного искусства. Читатель невольно задумывается о грехе человека перед порученным ему животным царством (см. Быт. 1:28,9:2), о неоправданном, чудовищном извращении всего природно доброго и хорошего, используемого во Зло корысти ради, о варварском уничтожении всего живого (в том числе себе подобных), о гибели безвинных существ...

Я решительно не согласен с неоправданной попыткой толковать повесть аллегорически, наподобие басни или притчи, где люди якобы заgrimированы под «зверей». Это опровергается не только вышеупомянутым эпиграфом, но всем образным строем повествования. Текстологический анализ ясно показывает, что «Руслан» — это повесть о собаке, а не о каком-то четверолапом символе, в духе классицистического

искусства. Руслан — не образцовый чекист, так же, как Трезорка — не простой русский народ. Руслан — это Руслан, а Трезорка — это Трезорка. Люди в повести — это люди, а собаки — собаки, обрисованные с большим психологическим мастерством. О том, что это именно так, а не иначе, свидетельствует хотя бы предсмертная грёза — воспоминание Руслана о днях его детства, когда он детенышем жил в вольере питомника и был волен, пока не попал в рыжеволосые лапы хозяина, сразу став узником: «на поводке ли, без поводка, — всегда не свободен, не волен» (стр. 169). В полузабытье он вновь слышит роковой для себя возглас: «Добей». И с горечью думает:

«Никогда, никогда в этих помраченных не смирялась ненависть, они только часа ждут обрушить ее на тебя — за то лишь, что ты исполняешь свой долг. Правы были хозяева — в каждом, кто не из их числа, таится враг. Но и в их числе — разве были ему друзья? Один лишь инструктор, ставший потом собакою, и был по-настоящему другом, но что же он лаял тогда, в морозную ночь, под вой метели? — «Уйдемте от них. Они не братья нам. Они нам враги. Все до одного — враги!» (стр. 171).

Здесь каждая фраза опровергает схему притчи, герой которой якобы «честный чекист, русский богатырь» (единственный друг — тот, кто, сойдя с ума, стал собакой, то есть, в контексте повести, чем-то бесконечно более высоким, чем человек: своеобразная художественная параллель к свифтовским гуингнам)...

Если же вернуться к словам об исполнении долга, то в жуткой сцене смертельной схватки Руслана с парнями из колонны молодых строителей, с теми, кого он принял за вернувшихся, но забывших правила подконвойных, говорится о том, что заставило тяжело-раненого пса подняться:

«Страх за детенышей — поднимет, но их не было в жизни Руслана, и не знал он этого чувства. Зато другое он

знал, *нами подsunутое* (выделено мною. — В. Ч.), — долг, который мы в него вложили, сами-то едва ли зная, что это такое, — и этот-то долг его понуждал подняться» (стр. 162).

Нет, тут явно не о служаке-человеке, залезшем в собачью шкуру...

А чуть ранее, где фиксируется «величайшая минута жизни Руслана», когда он решил, что его бывшие подопечные «по-настоящему вернулись», мы читаем:

«В эту минуту был он счастлив и полон любви к людям, которых сопровождал. Он их провожал в светлую обитель добра и покоя, где стройный порядок излечит их от всяческих недугов...» (стр. 152).

Но они, эти люди, добились его, и убили его любовь к ним:

«Убогая, уродливая его любовь к человеку умерла совсем, — а другой любви он не знал, к другой жизни не прибился» (стр. 172).

Но — хватит!

«Достаточно он узнал наяву о мире двуногих, пропахшем жестокостью и предательством» (там же).

Думается, последние строки проводят четкий водораздел между миром Руслана и миром «помраченных», миром двуногих...

Впрочем, есть в повести двуногий, коего невозможно рассматривать в отрыве от Руслана, с кем он составляет как бы «диалектическую пару». Это Потёртый, не менее замечательное художественное создание Владимова, сплав фантазии и наблюдения. Этот персонаж — своего рода послелагерный Шухов, Иван Денисович, отпущенный на волю после долгих лет томительного ожидания, когда уж он и сам «не знал, хотел он воли или нет»...

Потёртый — глубоко реалистическая фигура, хотя образ его и может заставить спорить о том, насколько типичен он для зковского братства и не поклеп ли это (в известной степени) на русский народ, настолько, дескать, отвыкший от воли, что ему предпочтительней неволя. Такой упрек кое-кто делал и автору «Ивана Денисовича»: мол, Денисычи сами виноваты в своих путях, очень уж они безропотные и к неволе привычные. Хотя и есть в этих образах нечто, на такой упрек наталкивающее, думается, что всё же он несправедлив... Что касается Владимова, скорее всего он попросту хотел указать на тот весьма распространенный психологический факт, что многие, вернувшись из лагерей туда, где их давно никто не ждал (а кое-кто считал умершим), не знают, куда деваться со своей слишком поздно обретенной свободой, как жить дальше, — словно собака, потерявшая хозяина...

Напоминает Потёртый Денисыча и своим отношением к делу. Он такой же мастер на все руки (столяр-краснодеревец), такой же по-крестьянски расчетливый и бережливый, и одновременно (а из этих противоречий и складывается диалектическое единство его характера) — такой же нерасчетливый и небережливый в труде. Достаточно вспомнить, как он с Русланом ходит на станцию «приходовать» всякие дощечки, чтобы потом — в самозабвении, точно одержимый, — мастерить шкаф-сервант тете Стюре.

Не пошли ему судьба Потёртого, Руслан, может, околел бы с голоду и холоду, великодушно отпущенный на волю своим бывшим хозяином-конвоиром, которого пристыдил за намерение пристрелить собаку проезжий тракторист... Но есть что-то фатальное в том, что именно Потёртый, который пожалел его в первый раз (после омерзительной сцены на вокзале, когда хозяин принудил Руслана — дабы показать свою власть над ним — съесть хлеб, густо намазанный горчицей, и он понял, что хозяин его не любит, и, полу-

мертвый, свалился у помойки), «пожалел» его и в последний раз, велел добить его, роковым образом решив, что у него переломан хребет («Не жилец он. Некуда ему жить».).

Признав по запаху в Потёртом одного из своих бывших подопечных,

«Руслан поднялся и дал подняться Потёртому, и они пошли рядом, куда хотел Потёртый, — оба утешенные, что нашли друг друга... Случилось не предвиденное уставом службы, однако и не противное главному ее закону: житель барака сам напросился, чтоб его конвоировали. Оказавшись на воле, он хотел вернуться под любимый кров...

Потёртый был на пути к возвращению, и Руслан счел себя обязанным охранять его, пока не вернутся хозяева...» (стр. 54-55).

Так Руслан стал жить на дворе у тети Стюры, где нашел себе приют и Потёртый. Само звучание ее имени (подобно имени Потёртого) намекает на стертость, затертость жизнью, неприметность, обыденность. В самом деле, есть в ней что-то от Матрены — такая же она простая, немудрящая, жалостливая. Но в образе этом нет и следов идеализации. Деля с Потёртым и кров, и пищу, и ложе, тетя Стюра как-то признается ему — в ответ на очередную исповедь, — что, убеги он из лагеря и попроси у нее убежища, выдала бы она его не моргнув глазом: побежала бы к оперу и донесла.

« — Так бы и побежала?

— А как думаешь! Люди все свои, советские, какие ж могут быть секреты? Да, таких гнид из нас понаделали — вспомнить любо» (стр. 136).

Такова жизнь, как бы говорит писатель, — из песни слова не выкинешь...

На страницах, посвященных прилагерному — так называемому свободному — миру, миру Потёртого и тети Стюры, с поразительной глубиной и новизной для литературы, давно уже отвыкшей от нравственно-философской проблематики творчества Толстого и Достоевского, поставлена проблема, столь естественная для современного мыслящего писателя России: проблема Клетки и Свободы. Читая о странных взаимоотношениях Потёртого и Руслана — отбившейся от стада овцы и ее пастыря, — трудно не вспомнить «философию свободы» Великого инквизитора. Помните:

«Говорю тебе, что нет у человека заботы мучительнее, как найти того, кому бы передать поскорее тот дар свободы, с которым это несчастное существо рождается».\* И еще: «О, мы убедим их, что они тогда только и станут свободными, когда откажутся от свободы своей для нас и нам покорятся»...\*\*

Те, кто избрал свободу Великого инквизитора, даже собакам кажутся рабами — от них исходит запах рабства... В повести есть удивительная по глубине психологического анализа и эмоциональной силе сцена несостоявшегося отъезда Потёртого к семье. Еще и сам Потёртый, быть может, не сознавал, что никуда не в силах уехать, а Руслан уже знал, нюхом чувствовал. И прибежав на платформу, лежал рядом, незамеченный, спокойно ожидая развязки. Он ощущал себя в ответе за Потёртого:

«Что-то же надо было делать с Потёртым, он извелся, устал верить и ждать, вот и уйти пытался — да понял, что это бесполезно. А там, куда Руслан хотел его поселить,

---

\* Ф. М. Достоевский. Братья Карамазовы. Собр. соч., том девятый. М., 1958, стр. 319.

\*\* Там же, стр. 324.

где только и мог подконвойный обрести покой, там неизвестно что делалось» (стр. 137).

Это — о бывшем лагере, который в повести показан остраненно — глазами Руслана. При виде разора и рабочей сумятицы ему кажется, что те, бывшие, видно, «решили не переселяться, а здесь же и устроиться попросторнее» (стр. 140). Но при таком расширении лагеря — без пулеметных вышек и проволоки (которую, конечно, потом натянут, потому что как же без нее?) — и луна (!) могла оказаться в огнестрельной зоне... Вот здорово: в случае чего «хозяева смогут ее сшибить или упрятать в карцер!» (стр. 141) И без нее фонарей хватит...

Мир велик — это Руслан знал даже по своему собачьему опыту. И ему пришла мысль:

«А может быть... может быть, настало время жить вовсе без проволоки — одной всеобщей счастливой зоной?» (Там же). Но он тут же прогнал эту кошунственную мысль: «...так не получится. Это каждый пойдет, куда ему вздумается, и ни за кем не уследишь. Невозможно же к каждому приставить по собаке» (Там же).

Это он решил «не без грусти», как бы из сострадания к тем, кого искренне считал помраченными, сами не знающими своего счастья и вечно куда-то рвущимися, когда им лучше всего, покойнее всего — за проволокой.

Вот ведь он и дождался их, наконец, дождался после многомесячных ежедневных дежурств на платформе — дождался состава с ними. Правда, на этот раз всё было не по правилам, если не считать того, что они всё же направились к скверику, туда, где стояли два истукана, один из которых словно кричал «апорт!», а другой словно приказывал этот «апорт!» доставить ему... Далее мы простодушными, наивными глазами

собаки глядим на митинг, с его рабским ритуалом чтения — не по бумажке, а бумажке (!), — по окончании чего все кричали «Ppa-a», а задние — «Вау!»... А потом Руслан был приятно поражен, что «они сами построились в колонну», то есть «помнили и соблюли» главное правило! И он, инстинктивно признав в них тех, кого так долго ждал (как часа возвращения Службы!), привычно пошел справа, «ближе к голове строя»... Он был горд и счастлив, хотя ему не нравилось, что они горланили и дурачились, — очевидно, по каким-то новым правилам, нарушавшим «молчаливое торжество Службы». Он жалел также, что не может сообщить им, «какой там для их просветления приготовлен просторный лагерь», а если пока нет проволоки, то «они же ее и натянут», как это делали всегда (стр. 149).

В другом месте писатель (обычно предпочитающий показывать, нежели указывать и тем более подсказывать) отступает от этого правила, чтобы сказать о бедном нашем шарике, перепоясанном, изрубцованном «рубежами, границами, заборами, запретками» (стр. 108). Сказать о том, что нет на нем такой пяди,

«...где бы кто-нибудь кого-нибудь не стерег. Где бы одни узники, с помощью других узников, не охраняли бережно третьих узников — и самих себя — от излишнего, смертельного опасного глотка голубой свободы. Покорный этому закону, второму после всемирного тяготения, караулил своего подконвойного Руслан — бессменный часовой на своем добровольном посту» (там же).

Именно караулил, но не служил: «Ни от кого подачки не взял, ничьей команды не выполнил, никому не повилял» (стр. 143) — ни Потёртому, никому... Придирчиво проверяя себя, он в этом смысле не видел за собой грехов, в коих погрязли его четвероногие лохматые «коллеги», которые и о нем хотели судить

по себе. И тут писатель позволяет себе еще одно «лирическое отступление», обращенное к тем, кого он именует: «Господа хозяева жизни».

«Господа хозяева жизни! — с горечью восклицает он. — Мы можем быть довольны, наши усилия не пропали даром. Сильный и зрелый полнокровный зверь... чувствовал на себе жёсткие, уродливые наши постромки и принимал за радость, что нигде они ему не жмут, не натирают, не царапают» (стр. 143).

Еще одно, кстати, доказательство строгого авторского противопоставления двух миров: собачьего и человеческого... Причем, в этой связи надо сказать, что если (и это весьма характерно) собачий мир глубоко индивидуализирован, если у каждой собаки — у отличника по злобе Джульбарса, у его антипода, романтического, умного и не от мира сего Ингуса, у «плебея» Трезорки, у всех, не говоря уже о Руслане, свой запоминающийся характер и облик, то «хозяева», как правило, обрисованы умышленно схематично. (Ибо в повести собака — это личность, а люди — стадо: «все рабы и в рабстве равны»). Исключение составляют (о Потёртом я уже говорил: он — не «хозяин») разве что хозяин Руслана, который проявил всё же минимальную свободу воли, отпустив Руслана на волю, да инструктор — эта поистине трагическая фигура: недаром же в него под конец переселилась душа Ингуса, который «умер зачинщиком собачьего бунта».

Этот уникальный в литературе бунт — одна из самых сильных и многозначительных сцен повести, ключевая для понимания ее основной коллизии. В самом деле, эта поистине жуткая сцена заставляет нас остро почувствовать превосходство дрессированных животных над дрессированными людьми, с удивлением ощутить симпатию к собакам, натасканным на людей и проявляющим к ним — в исключительной

ситуации — любовь. Главное чудо произведения Владимова в том, что, взяв героем повести проклинаемое существо — караульную лагерную собаку, — он заставляет нас полюбить ее. На таких «парадоксах», на таких диалектических противоречиях и зиждется единство подлинного произведения искусства...

Надо сказать, что еще до собачьего бунта, в эпизоде расстрела убийцы лагерного стукача, Руслан проявил непонятную для хозяина досадную слабину. Он «не мог унять дрожи, скулил и рвался из ошейника... Может быть, с этого дня хозяин и невзлюбил его» (стр. 86), отягчив свою душу «страхом и чувством вины» (там же). И вот в свирепый морозный день, когда эски наотрез отказались выйти на работу и их, по приказу Главного хозяина, стали окатывать из шлангов ледяной водой, превращая в ледяные столбы, Руслан вновь проявил ненужную и непонятную слабину, обратив свою злобу не на «помраченных», а на «толстый, шевелящийся на снегу рукав». И если бы его не опередил более молодой, со свойственной ему «поэзией безотчетных поступков», Ингус и, схватив зубами, не стал остервенело рвать шланг, Руслан, а не Ингус, получил бы смерть из рук Главного... То, что случилось потом, было тяжелым, невыносимым переживанием для Руслана. Хозяева равнодушно глядели, «как толстая серая гадина мечется и возит по снегу окровавленную голову Ингуса. *Но зверь на это смотреть не может* (выделено мною. — В. Ч.), и Руслан не стал смотреть, он упал рядом с Ингусом» (стр. 99). И стал терзать шевелящуюся «гадину»... Характерно, что в этот момент он (и даже человеконенавистник Джульбарс, который храбро заслонил собой дуло автомата и парализовал намерение Главного по-своему наказать взбунтовавшихся собак) не чувствовал, что изменяет Долгу и Службе, не чувствовал себя виноватым.

«Ведь и хозяева делали то, чего никак не могли одни двуногие делать с другими двуногими, и разве только он, Руслан, пошел за мертвым Ингусом?» (стр. 100).

Следующая фраза помогает осознать всю глубину «конфликта сторон», изображенного в книге:

«Да, всякий зверь понимает, насколько велик человек, и понимает, что величие его простирается одинаково далеко и в сторону Добра, и в сторону Зла, но не всюду его сможет сопровождать зверь, — даже готовый умереть за него, — не до любой вершины с ним дойдет, не до любого порога, но где-нибудь остановится и поднимет бунт» (стр. 101)...

Да, не всегда подчинится зверь Закону проволоки, а иногда поглядит на «властелина мира» с *удивлением* и *жалостью* или намертво — в отказе повиноваться — сожмет челюсти...

Для Руслана лучше было уйти из этого жестокого мира, ведь и некоторым собакам, как некоторым людям, «некуда жить». Обращаясь ко всем нам в смертную Русланову минуту с просьбой оставить Руслана в покое, оставить навсегда, автор говорит, что это «и его единственное желание — чтоб все мы, виновные перед ним, оставили бы его наконец и никогда бы не возвращались» (стр. 172). Выход в смерть (как и для Пронякина, чьи конечные минуты столь напоминают Руслановы) — великое освобождение для Руслана из клетки земной жизни, где последней его наградой было то, что Служба вновь его позвала. Она его позвала «уже с переправы к другому берегу», ибо он один остался ей верен до конца в то время, когда все ее предавали, оплеывали, «и сами знаменосцы швыряли в грязь ее оплеванные знамена»... Что же это за Служба и что это за Хозяин, «без запаха и в новых сапогах», с рукой «твердой и властной»? Конечно, не земные... Оттого и помчался Руслан туда, куда указывал ему новый Хозяин, — помчался «могу-

чий, не знающий ни боли, ни страха, ни к кому любви», ведь «уродливая его любовь к человеку умерла совсем». И было ему единственной наградой «за все муки его и верность»: «Фас, Руслан!.. Фас!» (стр. 173)...

Закрывая книгу, которую мучительно трудно перечитывать из-за слабости человеческого сердца, то и дело сжимающегося от боли, — долго еще слышишь этот возглас...

---

«Верный Руслан» — книга, которую смело можно назвать классической, украсила бы литературу любого народа. И если ныне, по воле «властителей и судей», она недоступна широкому российскому читателю, она всё равно пробьет к нему дорогу.

И будет жить, покуда живо Искусство.

### В ПРАВЛЕНИЕ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

Вы не пустили меня на книжную ярмарку во Франкфурт-на-Майне, куда меня пригласило норвежское издательство «Гюльдендаль». Я не был на Западе ни дня, проживу и без этих шести; трудно лишь объяснить г-ну Гордону Хельмбакку, главному редактору, наивно меня пригласившему, что мой союз, добровольный творческий союз единомышленников, может утаить приглашение и не отвечать на мои запросы, может не пустить автора встретиться со своим издателем, с читателями, с книгой. Поймет ли он, смогут ли ему перевести, если я объяснюсь на вашем страшном языке тюремщиков и работорговцев: «я — *невъездной*»?

Еще трудней — себе самому признаться, что питал иллюзии, будто вам ведом иной язык, будто природа ваша может меняться.

Когда на Западе появилась и стала распространяться моя повесть «Верный Руслан», вы спохватились, многого ли достигли долгим битьем «Трех минут молчания», — или, просто, рука устала? — вы сочли ошибкою и саму травлю, и статус «неудобного», каким я всегда для вас был, и вы призвали меня «вернуться в советскую литературу». Я вижу теперь, какую цену должен был заплатить за это возвращение. Простодушный г-н Хельмбакк, желая вас порадовать, пишет, что очень доволен переводом «Руслана» и отзывами норвежской прессы, — и какую ж занозу вгоняет в ваши партийные сердца! Ну, разумеется, поли-

тика не по его части, ему все едино, где появляется русская проза: в «Гранях» или в «Дружбе народов», — там, где он видит литературу, там вы — политику и ничего больше; кто же дальтоник? Я мог бы попросить его переписать пригласительное письмо, чтоб никакой «Руслан» не упоминался, — это вас бы устроило? — но для меня бы значило: отказаться от собственной книги. На унижение я не пойду. И так как вам не расстаться с вашей природой, а мне — со своей, то это мое письмо к вам — последнее.

Отдавали вы себе отчет, куда предлагали мне «вернуться»? В какой заповедный уголок бережности и внимания? Туда, где по семи лет дожидаясь издания книги, после того как ее напечатал первый журнал в стране (дети, родившиеся в тот год, как раз пошли в школу, выучились читать)? Где любой полуграмотный редактор и после одобрения вправе потребовать любых купюр, пускай бы они составляли половину текста (не анекдот — письма ко мне М. Колосова)? И где независимый суд в 90 случаях из ста (а если произведение критиковалось в печати, то в ста случаях) примет сторону государственного издательства и подтвердит в решении, что надо уложиться в «габариты повести»? Литературоведы, не знающие этого термина, обратитесь к судье Могильной — *она знает!*

Чего не претерпишь ради великого российского читателя — да если б была нужда терпеть, говорить с ним из-под пресса, постылым языком раба Эзопа. Разумеется, всякий предпочтет издаваться на родине, где его тиражи свободно расходятся, а не тащатся в микродозах через самую надежную в мире границу, и все же нет проблемы неизданных авторов, есть проблема — не решающихся издаваться. Десять лет назад, в письме IV-му съезду, я говорил о наступлении эпохи Самиздата — и вот она кончается, другая идет, куда более продолжительная, — эпоха Тамиздата. Да он всегда и был, Тамиздат, ненавистная для вас палу-

ба в океане, на которую усталый пилот мог посадить машину, когда не принимали отечественные аэродромы. Но ведь советовал вам изгнанник, а вы не слушали: «Протрите циферблаты! — ваши часы отстали от века», впору уже не о палубе говорить — о целых островах, если не материке. И попробуйте не посчитаться с нарастающей жаждой читателя, который, в отличие от вас, текстом интересуется, а не выходными данными, — все меньше у него охоты разбирать седьмые-восьмые копии, он хочет иметь — книгу.

Россия всегда была страной читателя — и такого, что в семи водах испытан, в бесчисленных огнях. Чем ему только мозги не пудрили — и казенной хвалою, и списками сталинских, в Лету канувших, лауреатов, и постановлениями об идеологических ошибках, и докладами ваших секретарей, и всесоюзными анафемами, и публицистикой «знатных сталеваров», — а все же не сплошь запудрили, выстояла, выкристаллизовалась лучшая ее часть, знающая цену честной, не фальшивой книге. Этот читатель, помимо своей основной обязанности — просто читать, — принял еще оброк, наложенный временем: сохранять книги от физической смерти, и тем бережней, чем рьяней их изымают. Тридцать лет он хранил Есенина, пока не дождался переиздания, еще хранит — машинописного Гумилева, уже хранит — «Ивана Денисовича» в «Роман-газете», принял на сохранение — «В окопах Сталинграда» с библиотечным штампом — зачитал ли? украл? выпросил? — но уберег от гильотинного ножа.

Вы предлагали мне «определиться», сделать выбор, но, боюсь, он не между Тамиздатом и Тутиздатом, он — между читателем и вами. Между ним, кто хранил и мои «новомировские» комплекты, переплетал — без надежды, что издадут, а на северных флотах — переписывал от руки в тетрадки, — и между вами, кто не исполнил передо мною элементарных обязанностей профессионального союза. Ваше бюро

пропаганды *не рекомендовало* читателям встречаться со мною, ваша правовая комиссия не вступилась за мои права, попранные издательством «Советская Россия»; знакомство с иностранной комиссией вполне исчерпывается эпизодом с приглашением от «Гюльдендаля». А могло ли иначе быть? Могли б вы на иоту отступить от главного своего предназначения?

Как заведомо отвергаются проекты вечного двигателя, так должно отбросить все попытки руководить литературным процессом. Литературой управлять нельзя. Но можно помочь писателю в его труднейшей задаче, а можно и повредить. Могучий наш союз неизменно предпочитал второе, бывши — и оставаясь — полицейским аппаратом, вознесшимся высоко над писателями и из которого раздаются хриплые понукания и угрозы — и если б только они. Не стану зачитывать присталинский список — кому союз, вернейший проводник злой воли власть предержавших, да со своей еще ревностной инициативой, первоначально *оформил дела*, обрек на мучения и гибель, на угасание в десятилетиях несвободы, — слишком длинно, более 600 имен, — и вы оправдаетесь: это ошибки прежнего руководства. Но при каком руководстве — прежнем, нынешнем, промежуточном — «поздравляли» с премией Пастернака, ссылали — как тунеядца — Бродского, зашвыривали в лагерный барак Синявского и Даниэля, выжигали треклятого Солженицына, рвали из рук Твардовского журнал? И вот, еще не просохли хельсинкские чернила, новые кары — изгон моих коллег по международному ПЕН-клубу. Да что нам какой-то там ПЕН, когда уж мы двух Нобелевских лауреатов высвистели! И как не воскликнуть словами третьего: «Лучших сынов Тихого Дона поклали вы в эту яму!» Ну, может быть, хватит? Опомнимся? Ужаснемся? Так ведь для этого, по крайней мере, Фадеевым надо быть. Но, травя, изгоняя все мятущееся, мятежное, «неправильное», чуждое соцреали-

стическому стереотипу, все то, что и составляло силу и цвет нашей литературы, вы и в своем союзе уничтожили всякое личностное начало. Есть оно — в человеке ли, в объединении — и теплится надежда на поворот к раскаянию, к возрождению. Но после размена фигур положение на доске упростилось до крайности — пешечное окончание, серые начинают и выигрывают. Вот предел необратимости: когда судьбами писателей, чьи книги покупаются и читаются, распоряжаются писатели, чьи книги не покупаются и не читаются. Унылая серость с хорошо разработанным инструментом словоблудия, затопляющая ваши правления, секретариаты, комиссии, лишена чувства истории, ей введома лишь жажда немедленного насыщения. А эта жажда — неутолима и неукротима.

Оставаясь на этой земле, я, в то же время, и не желаю быть с вами. Уже не за себя одного, но и за всех, вами исключенных, «оформленных» к уничтожению, к забвению, пусть не уполномочивших меня, но, думаю, не ставших бы возражать, я исключаю вас из своей жизни. Горстке прекрасных, талантливых людей, чье пребывание в вашем союзе кажется мне случайным и вынужденным, я приношу сегодня извинения за свой уход. Но завтра и они поймут, что колокол звонит по каждому из нас, и каждым этот звон заслужен: каждый был гонителем, когда изгоняли товарища, — пускай мы не наносили удара, но поддерживали вас — своими именами, авторитетом, своим молчаливым присутствием.

Несите бремя серых, делайте, к чему пригодны и призваны, — давите, преследуйте, не пушайте. Но — без меня.

Билет № 1471 возвращаю.

Москва, 10 октября 1977 г.

Георгий ВЛАДИМОВ  
(Подпись)

### Свобода человека и общество грядущего

Карл ПОППЕР

## УТОПИЯ И НАСИЛИЕ

Существует много людей, ненавидящих насилие и убежденных в том, что самая главная и одновременно самая благодарная их задача состоит в ограничении насилия, а, по возможности, и в устранении его из человеческой жизни. И я — один из таких людей, рассчитывающих на успех противников насилия. Я не только ненавижу насилие, но и твердо убежден, что борьба с ним отнюдь не безнадежна. Я отдаю себе отчет в трудности задачи, а также знаю, что слишком часто в ходе истории случалось, что казавшееся на первых порах большим успехом в борьбе с насилием впоследствии заканчивалось поражением. Я не закрываю глаза на тот факт, что новая эра насилия, открывшаяся двумя мировыми войнами, еще ни в коем случае не завершилась. Нацизм и фашизм были разгромлены, но нужно признать, что их поражение не означает поражения варварства и жестокости. Наоборот, не следует игнорировать то, что эти отвратительные

---

Сэр Карл Поппер (р. в 1902 г., в Вене). Философ. Один из основателей Венского кружка и основоположник логического позитивизма. Д. ч. Британской академии наук и почетный член Американской академии наук. Важнейшие труды: «Logik der Forschung», 1934. «Open Society and its Enemies», 1945. «The Logic of Scientific Discovery», 1959. «Objective Knowledge», 1972. См. статью о нем в «Философской Энциклопедии», т. 4, стр. 319-320

идеи достигли в своем поражении чего-то, подобного победе. И мы не смеем исключать возможности конечной гибели нашей цивилизации. Но, несмотря на всё это, я сегодня, не менее, чем прежде, надеюсь на то, что насилие может быть побеждено. Это — наша единственная надежда; длительные периоды истории Запада, так же, как и история Востока, служат доказательством того, что эта надежда обоснована, что насилие может быть ограничено и поставлено под контроль разума.

Может быть, поэтому я, как и многие другие, верю в разум и называю себя рационалистом. Я — рационалист, так как разумная позиция — единственное, что можно противопоставить насилию.

Когда два человека несогласны друг с другом, это происходит то ли потому, что они придерживаются разных мнений, то ли потому, что различны их интересы. В социальной жизни имеются различные виды несогласия, которые должны быть так или иначе разрешены. Например, если речь идет о проблеме, которую нужно разрешить, так как в противном случае создадутся новые трудности, кумулятивный эффект которых может привести к невыносимому напряжению, к такому состоянию, когда решение вопроса потребует постоянной и интенсивной подготовки (гонка вооружений тому пример). Принятие решения тогда становится необходимостью.

Как можно принять решение? Для этого, в основном, имеются только две возможности: доводы (включая те, которые выносятся на арбитраж, например, какой-нибудь международной судебной инстанции) или насилие. Например, в случае, когда происходит столкновение интересов, альтернатива заключается или в разумном компромиссе, или в попытке уничтожения противостоящего интереса.

Рационалист — в том смысле, в котором я употребляю этот термин, — это человек, который скорее

пытается добиться решения при помощи доводов или, может быть, в известных случаях даже при помощи компромисса, чем путем применения насилия. Это — человек, который предпочтет не достичь успеха, убеждая другого человека лишь доводами, нежели добиться этого успеха, подавляя оппонента силой, устрашением, угрозой или даже настойчивой пропагандой.

Вероятно, легче понять то, что я имею в виду, употребляя понятие разум, если усвоить разницу между попыткой убедить человека доводами или уговорить его при помощи пропаганды.

Разница заключается не в самих доводах. Пропаганда тоже пользуется ими. Разница заключается и не в нашей уверенности в том, что наши доводы убедительны и должны быть восприняты как убедительные каждым разумным человеком. Скорее всего, различие заключается в готовности «давать и брать», в желании не только убедить другого человека, но также и в готовности быть убежденным им. То, что я называю позицией благоразумия, может быть охарактеризовано следующим образом: я думаю, что я прав, но вполне возможно, что и неправ, а правы — вы; и во всяком случае, давайте дискутировать, ибо таким путем мы скорее придем к взаимопониманию, чем в случае, если каждый из нас будет настаивать на своей правоте.

Из этого явствует, что то, что я называю разумным подходом, или рационалистической позицией, предполагает наличие известного интеллектуального смирения. Возможно, что такое смирение доступно только тем, кто сознает, что и им случалось быть неправыми, кто обычно не забывает совершённых ошибок. Эта позиция проистекает из сознания, что мы не всеведущи и что большей частью наших знаний мы обязаны другим. Эта позиция характеризуется попыткой максимально перенести в сферу мнений два общих правила любой юридической процедуры: во-первых,

всегда стремиться выслушать обе стороны, а во-вторых, — учитывать тот факт, что никто не может быть хорошим судьей, если он сам тяжущаяся сторона.

Я полагаю, что избежать насилия можно только в той мере, в какой мы на практике будем пользоваться этим разумным подходом друг к другу в социальном плане, так как любой иной подход открывает возможности для применения насилия; эта опасность существует даже при односторонней попытке (во взаимоотношениях друг с другом) убедить человека доказательствами и примерами нашего видения, наличием которого мы гордимся и в верности которого мы абсолютно убеждены. Ведь все мы помним, как во имя любви и кротости велись многие религиозные войны и сколько людей было сожжено заживо с подлинно добрым намерением спасти души от вечного адского огня. Можно надеяться на достижение контроля над актами насилия, возникающими на почве благочестия и долга, но только в том случае, если мы откажемся от авторитарного подхода в области мнений, если мы станем на позицию полюбовной сделки и будем готовы учиться друг у друга.

На пути быстрого распространения этой разумной позиции — много трудностей. Одна из главных заключается в том, чтобы обе стороны были готовы вести ее разумно. Вы лишены возможности вести дискуссию с человеком, который предпочитает скорее в вас стрелять, чем дать вам себя убедить. Иными словами, позиции благоразумия поставлены пределы. То же самое касается и терпимости. Вы не можете без ограничений принять принцип терпимости по отношению к тем, кто нетерпим. Если вы так поступите, то уничтожите не только себя, но и саму позицию терпимости.

Важный вывод из всего сказанного заключается в том, что мы не смеем делать расплывчатым различие

между нападением и защитой. Мы должны настаивать на этом различии, поддерживать и развивать социальные институты (как национальные, так и международные), функция которых состоит в определении разницы между агрессией и сопротивлением ей.

Предполагаю, что сказанного достаточно, чтобы стало ясным, в каком именно смысле я называю себя рационалистом. Мой рационализм не догматичен, хотя я вполне допускаю, что это не может быть рационально доказано. Я откровенно признаюсь в том, что избрал рационализм, так как ненавижу насилие и не пытаюсь обмануть себя верой в то, что эта ненависть имеет какие бы то ни было рациональные обоснования. Иными словами, мой рационализм не самодостаточен, а основан на иррациональной вере в благотворность разумной позиции. Не думаю, что следовало бы идти дальше такого высказывания. Вероятно, можно было бы сказать, что моя иррациональная вера в равное и взаимообязывающее право убеждать других и быть ими убежденным — есть вера в человеческий разум, или — еще проще — вера в человека.

Когда я говорю, что верю в человека, то думаю о человеке, каков он есть; никогда и в помыслах своих я не позволю себе считать его целиком рациональным. Я даже не представляю себе, что может быть поставлен вопрос: чего больше в человеке — рациональности или эмоциональности? У нас нет возможности ни определять, ни даже сравнивать эти вещи. Должен признаться, что лично я склонен протестовать против известного преувеличения иррациональности в человеке и человеческом обществе (что проистекает в значительной мере из вульгаризации психоанализа). Но для себя я отмечаю не только силу эмоций в человеческой жизни, но и их ценность. Я никогда не посмел бы требовать, чтобы стремление к разумному подходу сделалось доминирующей целью нашей жизни. Мне хочется только сказать, что такой подход мог бы

стать одним из тех, которые никогда не должны отсутствовать во взаимоотношениях между людьми, даже в таких, в которых доминирует большая страсть, как, например, любовь\*.

Теперь, я полагаю, стало понятным мое отношение к проблеме разума и насилия; и я надеюсь, что его разделяют не только некоторые мои читатели.

Вот на этой базе я и предлагаю обсудить теперь проблему утопизма.

Я думаю, что мы можем определить утопизм как результат известной формы рациональности. Я постараюсь показать, что такая форма рациональности очень отличается от той, в которую верю я и многие другие. Таким образом, я попытаюсь показать, что существуют по крайней мере две формы рациональности: одна, которую я считаю правильной, и другая, которую я считаю неправильной; и именно эта неправильная форма ведет к утопизму.

Насколько я понимаю, утопизм есть результат определенного вида рассуждений, воспринимаемых многими как правильные, хотя люди, к ним прибегающие, удивились бы, услышав, что эти рассуждения, якобы неуязвимые и самоочевидные, ведут к утопическим результатам. Эти благовидные рассуждения могут быть представлены следующим образом.

Рассуждать можно так: действие — рационально, если оно наилучшим способом использует наличные средства для достижения определенной цели. Что касается цели, то она, по общему признанию, не может быть рационально установлена. Как бы то ни было,

---

\* Экзистенциалист Ясперс пишет: «Вот почему любовь жестока, безжалостна; и почему подлинно любящий считает это чувство любовью только тогда, когда она такая». Такой подход, по-моему, обнаруживает не силу, которую хотят этим показать, а слабость; это не столько вульгарное варварство, сколько истерическая попытка его изобразить (см. «Открытое общество», 4-е издание, том II, стр. 317).

мы можем считать действие рациональным и изображать его как рациональное только в том случае, если оно адекватно поставленной цели и рационально по отношению к ней. Только имея в виду некую цель и только по отношению к этой цели мы можем сказать, что действуем рационально.

Теперь применим это рассуждение к сфере политики. Любая политика сводится к действиям; и эти действия будут рациональными, если они преследуют какую-либо цель. Целью политики какого-нибудь человека может быть, например, усиление его могущества или богатства. Или же целью может служить улучшение законодательства страны, изменения в структуре государства. В последнем случае политическая деятельность будет рациональной только тогда, когда мы предварительно определим цели тех политических изменений, которые мы намерены произвести. Она будет рациональной только по отношению к нашему представлению о том, каким должно было бы быть государство. Из этого следует, что любой рациональной политической активности должна предшествовать попытка наиболее ясного определения конечных политических целей; например, видение того состояния государства, которое мы считаем наилучшим; и только затем мы можем определить средства, которые позволят нам наилучшим образом достичь этого состояния; или, если мы считаем, что такова цель исторического процесса, на который мы можем в известной мере влиять, направляя его к избранной цели, — нам следует медленно продвигаться к осуществлению этого состояния.

Именно такой подход я и считаю утопизмом. При подобном подходе любому рациональному и неэгоистическому действию должно предшествовать определение конечных целей, а не только промежуточных или частичных, которые суть лишь шаги по направлению к цели конечной и которые, следовательно, мож-

но рассматривать скорее как средства, нежели цели; поэтому рациональная политическая деятельность должна основываться на более или менее ясном и подробном описании или схеме нашего идеального государства, а следовательно, и на плане или схеме исторического пути, который ведет к этой цели.

Я считаю утопизм очень привлекательной, даже слишком привлекательной теорией, но также опасной и пагубной. Я думаю, что она сама себя опровергает и ведет к насилию. То, что она сама себя опровергает, явствует из того факта, что определить цели научно — невозможно.

Не существует научной возможности и выбора между двумя целями. Некоторые люди, например, любят и почитают насилие. А многие другие, к которым принадлежу и я, насилие ненавидят. Таким образом, возникает спор о целях. Он не может быть разрешен наукой. Из этого не следует, что пытаться спорить о насилии — значит бесплодно тратить время. Это означает только то, что вы не в состоянии спорить со сторонником насилия. У него всегда имеется возможность ответить на довод пулей, если его не будет сдерживать угроза применения ответного насилия. Если же он готов внимать вашим аргументам, не стреляя в вас, то это означает, что он уже заражен рационализмом, и у вас есть шанс убедить его. Но с помощью аргументов вы не можете заставить всех к вам прислушаться, вы не можете с помощью аргументов переубедить тех, кто относится подозрительно к любым доводам и кто рациональному решению предпочитает проведение в жизнь решения силой. Вы не можете доказать этим людям, что они неправы. А это только частные случаи, которые, однако, можно обобщить. Никакое решение не может быть принято *чисто* рациональным или научным путем. И тем не менее, доводы могут оказаться чрезвычайно полезными для принятия решения о целях.

Применяя все сказанное к проблеме утопизма, надо прежде всего дать себе ясный отчет в том, что проблема создания утопической схемы не может быть разрешена только с помощью науки. По меньшей мере, цели этой схемы должны быть установлены до того момента, когда ученый-социолог возьмется за ее набросок. На эту же ситуацию мы наталкиваемся и в естественных науках. Никакой объем знаний физика не может дать ученому указание, чем ему лучше всего заняться — конструкцией ли плуга, самолета или атомной бомбы. Цель должна быть поставлена или им самим или кем-нибудь другим; в последнем случае его обязанность *как* ученого заключается только в нахождении средств, при помощи которых эта цель может быть осуществлена.

Подчеркивая трудность выбора между различными утопическими идеалами при помощи рациональных доводов, я не хотел бы создать впечатление, что эта область, как область суждений о целях, полностью находится за пределами, доступными рациональной критике (хотя я и стремлюсь показать, что область целей находится далеко за пределами *научной* аргументации). Ведь и я пытаюсь спорить в этой области, но подчеркивая трудность выбора между конкурирующими утопическими набросками, я стараюсь рационально возражать против выбора идеалов этого типа. Таким рациональным доводом представляется мне и моя попытка подчеркнуть, что упомянутая трудность выбора способна привести к насилию, хотя этот довод и существен только для тех, кто ненавидит насилие.

Утопический метод, ставящий себе цель создать идеальное общество, цель, которой должны служить все наши политические действия, способен вызвать насилие; и это можно показать следующим образом. Так как мы не можем научно или путем чисто рациональных методов определить конечные цели полити-

ческой деятельности, то различия мнений по вопросу о том, как должно выглядеть идеальное государство, не могут быть сглажены методом аргументации. Они, по крайней мере частично, будут носить религиозный характер, а во взаимоотношениях различных утопических религий нет места терпимости. Утопические цели ставятся для того, чтобы служить базой для политической деятельности и дискуссий; сама же эта деятельность кажется возможной только в том случае, если будет принято твердое решение о цели. Поэтому человек утопического мышления должен или восторжествовать над своими тоже утопически мыслящими конкурентами, не разделяющими его утопические цели и не принадлежащими к его утопическому вероисповеданию, — или раздавить их. Но ему предстоит совершить и нечто большее. Он должен самым тщательным образом заняться ликвидацией и искоренением всех еретических конкурирующих мнений, поскольку путь к утопическому идеалу долог. Поэтому рациональность политических действий человека утопического мышления требует постоянства цели в течение длительного периода, а этого можно достичь при условии, что не только будут подавляться конкурирующие утопические религии, но и как можно основательнее выкорчевываться всякие воспоминания о них.

С применением насильственных методов подавления нужно крайне спешить, так как время созидания утопии должно быть временем и социальных перемен. В такие периоды должны меняться и идеи. То, что многим могло показаться желанным тогда, когда была установлена утопическая схема, может показаться менее желанным в последующие времена. А если это так, то рискует рухнуть и вся конструкция, так как если мы сменим наши окончательные цели, когда будем пытаться идти в направлении к ним, то мы рискуем вскоре обнаружить, что движемся по порочному кругу. Весь метод — сначала установление

конечной политической цели, а затем подготовка движения к ней — оказывается бесплодным, поскольку бывает, что цель меняется в процессе своей реализации. Легко может оказаться, что ранее сделанные шаги фактически уводят от новой цели. А если мы затем изменим направление в соответствии с нашей новой целью, то опять подвергнем себя тому же риску в будущем. И наши усилия могут окончиться ничем, несмотря на все жертвы, которые мы могли бы принести для того, чтобы быть уверенными в рациональном характере наших действий.

И снова — единственная возможность избежать изменения наших целей, по-видимому, сводится только к применению насилия, которое включает в себя и пропаганду, и подавление критики, и уничтожение оппозиции. Параллельно с этим должно происходить утверждение мудрости и силы предвидения утопических планировщиков — утопических инженеров, создавших и реализующих утопическую схему. Таким образом, утопические инженеры должны становиться не только всезнающими, но и всемогущими. Они превращаются в богов. И да не будет у тебя иных богов, кроме них!

Утопический рационализм — рационализм, сам себя уничтожающий. Как бы ни были благородны его цели, он приносит не счастье, а лишь обычную судьбу осужденного, т. е. горе, — жизнь под пятой тиранического правительства.

Важно до конца понять мою мысль. Я не критикую политические идеи как таковые, так же, как и не утверждаю, что политические идеи никогда не могут быть реализованы. Это было бы необоснованной критикой с моей стороны. Многие идеалы, которые в свое время объявлялись с догматических позиций нереализуемыми, оказывались реализованными: например, создание действующих нетиранических институтов для обеспечения гражданского мира, т. е. для пре-

сечения преступлений внутри государства. Я не вижу также оснований, почему бы международный трибунал и международная полицейская сила имели малый успех в пресечении международных преступлений, т. е. агрессии против народов или дурного обращения со всякими меньшинствами и даже с большинством населения. Против попыток реализации такого рода идеалов я никак не возражаю.

В чем же тогда состоит различие между теми благонамеренными утопическими планами, против которых я возражаю (потому что они ведут к насилию), и другими важными и глубокими реформами, которые я склонен приветствовать?

Если бы мне нужно было дать простую формулу или рецепт, чтобы отличать приемлемые для меня планы социальных реформ от неприемлемых утопических схем, я бы сказал: лучше стремитесь искоренять конкретное зло, чем осуществлять абстрактные блага. Не ставьте себе целью достижение счастья политическими средствами. Стремитесь лучше к ликвидации конкретного горя. Или — в более практических понятиях: стремитесь к ликвидации нищеты прямыми средствами; например — добивайтесь обеспечения каждого минимальным доходом. Или — боритесь против эпидемий и болезней, создавая госпитали и медицинские институты. Боритесь с безграмотностью так, как вы боретесь с преступностью. Но делайте всё это непосредственным путем. Выбирайте в обществе, в котором вы живете, то зло, которое требует наиболее спешного искоренения, и пытайтесь терпеливо убеждать людей в том, что от него можно избавиться.

Но не пытайтесь осуществлять эту цель окольными путями, а именно: работой для достижения обрисованного вами отдаленного идеала совершенного во всех отношениях общества. Какую бы значительную роль ни играла воодушевляющая вас идея, не думайте, что вы обязаны работать для ее реализации, или что

ваша миссия — открывать глаза другим на красоту вашего видения. Не позволяйте мечте о прекрасном мире отвлекать вас от нужд людей, которые страдают здесь и ныне. Наши современники имеют право требовать нашей помощи. Ни одно поколение не может быть принесено в жертву поколениям будущим. Короче говоря, согласно моему тезису: человеческие несчастья — самая неотложная проблема рациональной общественной политики, а счастье такой проблемой не является. Достижение счастья должно быть предметом наших частных забот.

Фактически нам не так трудно в дискуссии достичь соглашения по вопросу о самом невыносимом зле и о том, какие должны быть проведены немедленные реформы для его устранения. Согласие в этом вопросе может быть достигнуто куда легче, чем согласие относительно какой-либо идеальной формы социальной жизни. Ведь зло среди нас — здесь и сейчас. Оно ощутимо, и его каждодневно испытывают многие люди, кого сделали или кто сделался несчастным из-за нищеты, безработицы, национального угнетения, войн или болезней. Те из нас, кто не страдает от этих бед, каждый день встречается с теми, кто эти свои беды может нам описать. Это и есть то, что делает для каждого из нас беду конкретной. Поэтому мы и можем как-то продвинуться в обсуждении этого вопроса, поэтому мы и можем извлечь пользу из разумного подхода к нему. Мы можем учиться, прислушиваясь к конкретным требованиям, пытаюсь терпеливо оценить их как можно беспристрастнее, и подумать об их удовлетворении таким образом, чтобы это не привело к еще большей беде.

С идеальными благами дело обстоит по-иному. О них мы знаем только из наших мечтаний и из мечтаний наших поэтов и пророков. О них нельзя спорить, их можно только провозглашать с высоты трибун. Они нуждаются не в рациональном подходе бесприст-

растного судьи, а в эмоциональном призыве страстного проповедника.

Поэтому утопический подход противоположен подходу рациональному. Утопический подход, даже если он часто преподносится в рационалистическом облики, не может быть ничем иным, как псевдорационализмом.

Что же неверно в кажущейся рациональной аргументации, которую я привел, представляя позицию утописта? Я считаю, что вполне справедлива мысль, что судить о рациональности действия можно только по отношению к каким-то определенным задачам или целям. Это отнюдь не значит, что рациональность политического действия может быть оценена только в отношении исторической цели. И во всяком случае это не должно означать, что мы обязаны рассматривать любую социальную или политическую ситуацию предвзято, только исходя из какого-нибудь определенного исторического идеала, исходя из предполагаемого целенаправленного развития истории. Наоборот, если среди наших задач и целей есть что-либо связанное с человеческим счастьем или горем, мы должны оценивать наши действия, имея в виду не только возможный вклад в создание условий для счастья человека в отдаленном будущем, но также и более непосредственный результат наших действий. Мы не должны считать, что та или иная социальная ситуация есть всего лишь средство для достижения цели на том основании, что это лишь переходная историческая стадия. Ведь все ситуации преходящи. И точно так же мы не должны считать, что несчастья одного поколения могут рассматриваться в качестве средств для обеспечения длительного счастья грядущего поколения или поколений. И этот довод не становится более убедительным ни от количества и качества обещанного счастья, ни от количества поколений, которые смогут им пользоваться.

Так, доводы утопистов, которые могут казаться рациональными, превращаются в ничто. Очарованность будущим, которая овладевает утопистами, не имеет ничего общего с рациональным предвидением. Рассматриваемое под таким углом зрения насилие, порождаемое утопистами, очень похоже на одержимость принципами эволюционистской метафизики или истерической философии истории, спешащей пожертвовать настоящим во имя великолепия будущего; одержимость, которая не считается с тем фактом, что каждый отдельный будущий период будет приноситься в жертву периоду последующему, еще более отдаленному и т. д. Эта одержимость не считается с той простой истиной, что в конечном счете будущее человека — что бы ни сулила ему его судьба — не может быть более великолепным, чем его полное угасание.

Притягательность утопизма проистекает из неспособности постичь ту истину, что мы не можем создать рая на земле. То, о чем я говорю и что мы в состоянии достичь (вместо рая на земле), это превращение жизни в какой-то степени в менее ужасную и менее несправедливую для каждого поколения. И на этом пути можно добиться многого. Многое и было достигнуто в течение последних ста лет. Еще больше может быть достигнуто нашим поколением. Существует большое количество неотложных проблем, которые следует решать, хотя бы частично; например, такие, как помощь слабым, больным и тем, которые страдают от угнетения и несправедливости; нам предстоит уничтожение безработицы, предупреждение международных преступлений, как шантаж и войны, поджигаемые «богоподобными» людьми, всемогущими и всезнающими вождями. Всего этого мы могли бы достичь, если бы перестали мечтать об отдаленных идеалах и побороли бы в себе наше увлечение утопическими схемами нового мира и нового человека.

Те из нас, кто верит в такого человека, какой он есть, и кто потому не потерял надежды на поражение в мире насилия и безумия, должны вместо утопических схем ставить требования, чтобы каждому человеку было предоставлено право на самостоятельное устройство своей жизни в той мере, в какой это не нарушает такого же права других.

Из вышесказанного мы видим, что проблема истинного и ложного рационализма — лишь часть более общей проблемы. В конечном счете это — проблема здорового отношения к нашему существованию и к его ограниченности, та самая проблема, о которой столько толковали те, кто называли себя «экзистенциалистами», глашатаями новой религии без Бога. В их взглядах, думается, содержится невротический и даже истерический элемент. Он заключается в преувеличенном подчеркивании принципиального одиночества человека в безбожном мире и проистекающего из этого конфликта между человеком и миром. Я почти не сомневаюсь в том, что эта истерия тесно связана с утопическим романтизмом, а также с этикой поклонения героям, с этикой, которая способна интерпретировать мир только в понятиях «господства или раболепства». И я не сомневаюсь, что в этой истерии и заключается секрет ее сильной притягательности. Положение, что наша проблема есть лишь часть более обширной проблемы, вытекает из того факта, что водораздел, наблюдаемый между истинным и ложным рационализмом, имеет параллель в сфере, казалось бы, столь отдаленной, как религия. Христианские писатели давали, по крайней мере, два различных описания взаимоотношений человека с Богом. Здоровое толкование может быть выражено следующим образом: никогда не следует забывать, что человек — не Бог, но нужно помнить, что в нем заложена искра Божия. Другое толкование преувеличивает различие между человеком и Богом, подчеркивая ничтожество

человека и высоту тех вершин, к которым человек смеет устремляться. Такое мнение приводит к этике «господствуй или распластывайся» и в области религии. Я не знаю, имеется ли всегда в истоках этих отношений сознательная или подсознательная мечта о богоподобии и всемогуществе. Но мне думается, что трудно опровергнуть предположение, что сугубое подчеркивание существования такого конфликта может рождаться только на основе болезненной неуравновешенности отношения к проблеме власти.

Это неуравновешенное (и незрелое) отношение к проблеме власти выражается не только в стремлении властвовать над другими людьми, но и над окружающей нас природой — над миром как целым. В области веры можно было бы по аналогии такое отношение назвать «ложной религией». Люди, исповедующие ее, зачарованы не только властью Бога над человеком, но и Его могуществом, проявившемся при создании мира; подобным образом ложный рационализм увлечен идеей создания огромных машин и утопических социальных миров. «Знание — сила» Бэкона и платоновское «правление мудрых» — лишь различные выражения всё того же отношения, которое в основе своей есть претензия на власть в силу своих превосходных интеллектуальных данных.

Подлинный рационалист резко отмежевывается от такой позиции, так как всегда ощущает, насколько мало он знает, и так как он считается с тем простым фактом, что как высоки бы ни были его критические способности или его разум, этим он обязан интеллектуальному общению с другими людьми. Поэтому он склонен принципиально рассматривать людей как равных между собой, а человеческий разум — как объединяющее их звено. Для него разум — не инструмент власти и насилия; наоборот, он видит в разуме средство, могущее укротить их.

Сергей ЛЕВИЦКИЙ

## ЗАГАДКА ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ

*Об иерархической структуре личности*

В основу настоящей статьи положена интуиция, согласно которой человеческая личность есть микрокосм, в котором совмещаются, в высшем единстве, все пласты бытия, начиная с материальных и кончая духовными. Говоря словами Державина:

Я — связь миров повсюду сущих...  
Черта начальна Божества.

Высшие и низшие начала в человеческой личности находятся в состоянии противоборства, в котором побеждает то та, то другая сторона. Победа духа над плотью и низшими влечениями приближает человека к ангелу, победа низших влечений над высшими опускает его до уровня зверя, иногда даже сатаны. Но обычно ни та, ни другая сторона не одерживает решительной победы.

Имея в виду эту роковую двойственность человеческой природы, тот же Державин высказал свои знаменитые строки в цитированной выше оде:

Я телом в прахе истлеваю,  
Умом громам повелеваю,  
Я царь — я раб — я червь — я бог!

В человеке совмещаются ничтожество и величие, уродство и красота, добро и зло. Как говорил Достоевский: «Здесь дьявол с Богом борется, а поле битвы — сердца людей». Не нужно только понимать слова Достоевского слишком буквально: что человеческая душа есть лишь пассивная арена борьбы добра и зла. Нет, человек есть ее активный участник, и от его свободы зависит исход этой вечной тяжбы.

Часто эта борьба затихает и бывает скрыта за рутинной повседневности. Но она никогда не прекращается.

Человеческая личность есть как бы гражданин двух миров (выражение Канта) — природного и сверхприродного, которые находятся в состоянии постоянного конфликта друг с другом, — и все же совмещаются в личности в некоем высшем двуединстве.

Ни характеристика человека как «высшего животного», ни характеристика его как падшего ангела — хотя в них и содержится часть истины — не учитывают этой роковой двойственности, точнее, взаимопротивоборствующего *двуединства* человеческой природы, составляющего ее главную загадку. В понятии же человеческой личности, как неповторимого человеческого лица, подчеркнуты как наличие внутреннего мира в человеке, так и его человечность. Хорошо говорит на эту тему Бердяев:

«Человек — загадка в мире, его величайшая загадка. Человек — загадка не потому, что он есть часть природы или часть общества.

Человек — загадка как личность, как существо, обладающее личностью, с ее единственной в мире судьбой».

А что касается двойственности человеческой природы, противоречивого смешения в ней высшего и низшего начал, — я не знаю ничего лучшего, сказанно-

го на эту тему, чем слова Достоевского из его записной книжки:

«Атмосфера души человека состоит из слияния неба с землею; какое же противоречивое дитя человек! Закон духовной природы нарушен. Мне кажется, что мир наш есть чистилище духов небесных, отуманенных грешною мыслью».

Решающим для человеческой личности является наличие духовного начала в ней. Но это духовное начало дано не как отдельность, хотя бы высшая — оно интимно спаяно с его душой и телом. Личность и есть индивидуальная воплощенность духа в психофизическом естестве человека.

Перехожу теперь к главной цели своей статьи — к краткому анализу структуры человеческой личности, так сказать, по вертикали, начиная с низших ее слоев и кончая высшими.

### *Иерархическое строение личности*

Итак, человеческая личность есть сложное многоединство низших и высших влечений и стремлений, объединенное единым центром и носителем — человеческим «я».

Структура личности носит *иерархический* характер. В личности, по ее замыслу, низшие инстанции подчинены, точнее — должны быть подчинены — высшим. Когда эти низшие инстанции вырываются из-под контроля нашего «я», — мы имеем дело с патологией личности, нарушающей ее нормальное функционирование, что случается достаточно часто. Но, подобно тому, как мы изучаем человеческий организм в его здоровом, нормальном виде, а потом уже изучаем болезни организма, — так и в настоящей статье мы исходим из нормальной модели личности, исходя

из которой только и можно понять ее духовную патологию. Здоровье все-таки первичнее болезней, и, исходя из здоровья, можно понять и болезни, но не наоборот!

Иерархичность строения личности видна уже из того, что отношение души к телу носит нормально характер *господства*. Тело является как бы орудием души, средством ее проявления, и в этом подчинении тела — душе, заключается сущность волевых актов.

Разумеется, также и тело мощно влияет на душу, и это проявляется особенно остро в болезнях, которыми полна наша жизнь. Но влияние тела на душу, и влияние души — на тело, глубоко отличаются между собой. Тело влияет на душу слепо-причинно, душа воздействует на тело осмысленно-целесообразно. В первом случае мы имеем дело с категорией «причина — следствие», во втором — с категорией «средства и цели». В совмещении этих двух форм детерминации заключается одно из главных своеобразий строения личности.

Но в данной статье я буду говорить об иерархическом строении самой души.

### *Подсознание*

В личности нужно различать, прежде всего, три вертикально-иерархических ее слоя: подсознание, сознание и сверхсознание.

Начнем снизу, с подсознания.

Подсознание есть некая промежуточная сфера между телом и душой. Оно есть иррациональный корень души. Подсознание — более, чем инстинкт, но менее, чем душа. В открытии подсознания заключается бессмертная заслуга Фрейда. Я, как и многие критики, отнюдь не разделяю пансексуализма Фрейда — его отождествления подсознания с сексуальностью.

Но огульное отрицание Фрейда было бы столь же несправедливым, как и слепое принятие его тезисов.

В подсознании, в свою очередь, можно различать три его подслоя: инстинкт самосохранения, далее — сексуальное влечение в том расширенном смысле, который придает ему психоанализ, и, наконец, стремление к самоутверждению, столь пронизательно проанализированное противником Фрейда, Адлером.

Инстинкт самосохранения есть закон жизни всех живых существ. Он есть та основа, из которой вырастает биологическая жизнь. Сущность инстинкта самосохранения составляет то, что Шопенгауэр называл «слепой волей к жизни», и Бергсон — «жизненным порывом». Этот инстинкт, сам по себе, слеп, и слепое стремление к жизни и столь же слепой страх смерти есть его главные проявления.

Второй, относительно более высокий, слой подсознания составляет сексуальное влечение, хотя и связанное с инстинктом сохранения рода, но этой своей биологической ролью не исчерпывающееся. Сексуальное влечение руководится первично слепым и стихийным стремлением к телесно-акцентированному удовольствию. Оно руководится «принципом удовольствия» а не «принципом реальности». Все живое хочет не только быть, но и наслаждаться бытием. В этом смысле сексуальное влечение существенно обогащает чисто биологическое бытие.

Психоанализ продемонстрировал, насколько стихийно и глубоко живет в нас это стремление к удовольствию, и как неудовлетворенности и страдания, возникающие из невозможности найти нормальные пути удовлетворения, — приводят к иррациональным фобиям и неврозам. Почти каждый из нас проходил через «Страдания молодого Вертера». Да и значительная часть мировой литературы посвящена любви между мужчиной и женщиной, и драмам, связанным с этой любовью.

Шопенгауэр пишет на эту тему в своей «Метафизике половой любви» следующее:

«Половое влечение, сразу после воли к жизни, представляет собой наиболее сильный и эффективный из инстинктов, и добрая половина сил и мыслей молодого поколения занята именно им».

Далее, после драматического описания силы полового влечения и всех его ухищрений, Шопенгауэр продолжает:

«И мы вправе задать себе вопрос: из-за чего весь этот шум? Зачем эти страстные порывы и связанные с ним страхи? Неужели только ради того, чтобы каждый Иван нашел свою Марью? Почему же такая малость играет столь важную роль? — И лишь внимательному наблюдателю открывается ответ: речь идет здесь не о мелочи, здесь дело идет о самом важном в человеческой жизни, и та серьезность, с которой эта цель преследуется, — оправдана. Дело идет здесь ни о чем меньшем, как о формировании следующего поколения людей. Драматические персоны, играющие здесь главную роль, решают вопрос о качествах и свойствах будущих людей, как бы легкомысленны и фривольны не были их любовные ухищрения».

Этот тезис Шопенгауэра, несомненно, содержит часть истины, но именно только часть. Гипотеза о том, что весь смысл Эроса заключается в творчестве новых поколений и, тем самым, в достижении родового бессмертия, вряд ли подтверждается ежедневной практикой и данными половой психологии. Человеку отпущено природой половых потребностей гораздо больше, чем это нужно для произведения потомства. Нам кажется, что загадка Эроса лежит в другом, а именно в преодолении своей индивидуальной обособленности и самозамкнутости. В любовном экстазе, сопровождающем Эрос, достигается, — пусть на

моменты — забвение о себе, выхождение за рамки своего «я», душевно-телесным слитием его с «ты». В половой любви достигается интимное слитие «я» и «ты» в едином «мы». Этого, конечно, еще далеко не достаточно для союза душ, без которого брак может стать адом. Но в половом акте закладывается фундамент возможной дальнейшей душевной близости. Для слития душ, дополненных телесной близостью, хорошо подходит термин, изобретенный Франком — «двоечество».

В Библии, исполненной не только духовной, но и житейской мудрости, содержится подтверждение этого взгляда. «Две плоти будут воедино», причем добавляется: «тайна сия велика есть». Половое влечение относится, конечно, к низшему этажу личности, где телесное доминирует над душевным. Но все низшее есть необходимый фундамент для высшего.

Слишком частое злоупотребление сексуальностью, слишком большое сосредоточение внимания на нем есть не только грех, но снижает весь душевный строй. Вообще, когда сексуальность берется в отрыве от целостного состава личности и низводится лишь до степени «потребности», которую, дескать, обязательно нужно «удовлетворять», чуть ли не с любой партнершей или партнером, то, не говоря уже об аморальности подобной одержимости, она нарушает нормальную гармонию между духом и телом и приводит к деградации личности.

С другой стороны, гораздо более редкие случаи полного воздержания от половой любви обычно продиктованы болезненными фобиями и вряд ли — моральными мотивами.

Другое дело, что лица, идущие по пути святости, например, монахи, должны, по определению, воздерживаться от половой жизни, как несовместимой с полной отдачей себя Богу.

Этически говоря, низшие подсознательные влечения,

огненным фокусом которых является Эрос, подлежат сублимации их в духовную энергию, направленную на высшие ценности. Однако сама сублимация духа предполагает Эрос, как свою исходную точку, как динамический материал души. Как говорил Владимир Соловьев:

Свет из тьмы! — Из темной глыбы  
Вознестися не могли бы  
Лики роз твоих,  
Если бы в сумрачное лоно  
Не впивался погруженный  
Темный корень их.

Следующей ступенью в иерархии «нижнего этажа» личности является стремление к самоутверждению («Гельтунгстриб», по Адлеру). Основным мотивом этого стремления является утверждение значительности своего «я» как такового, будь то в глазах других (тщеславие), или в своих собственных глазах (гордыня). Сила этого стремления, носящего более глубокий, по степени близости нашему «я», характер, чем даже слепые влечения к наслаждению, достаточно демонстрируется ежедневным опытом. Для многих натур стремление играть «первую скрипку» в какой-либо, ими особенно ценимой, области, составляет насущную потребность. Другие натуры, менее тщеславные и менее общительные, стремятся утвердить свое «я» изоляцией его от других. Первая форма самоутверждения носит агрессивный, вторая — защитный характер. Из этого же стремления вытекает и ненасытимая, по своей природе, жажда власти над людьми. Муки неудовлетворенного самолюбия, муки уязвленной гордости, переживаются, пожалуй, еще острее, чем неудовлетворенная жажда наслаждений. И даже в любви между мужчиной и женщиной одна из главных причин

возникающих между ними конфликтов коренится в борьбе за превосходство одной из сторон.

Наконец, в нежелании преклониться перед Высшим Началом, в бессознательном самообожествлении — одна из причин атеизма. Одним словом, сила стремления к самоутверждению не требует особых доказательств.

Подчеркнем при этом, что нередко это стремление проявляется в обратном пропорциональном своей природе, виде, — а именно в явлении самоунижения, которое, по мудрой поговорке, бывает «паче гордости». Ибо унижающий себя этим самым спасается от унижения со стороны других, ожидая нередко ответных протестующих реакций. Главное же — сознание безмерности своего самоунижения дает человеку полусознаваемое «доказательство от противного» своей значительности, достигаемой через гипертрофию самоунижения.

И здесь мы должны отметить, что стремление к превосходству вытекает не из ценностно-нейтрального состояния, а из того ощущения своей несостоятельности, которое Адлер удачно назвал «комплексом неполноценности». Люди, страдающие тщеславием, самолюбием, гордыней, почти всегда втайне ощущают свою неполноценность, которую они пытаются «компенсировать» действительными или мнимыми доказательствами своей значительности. Каждый из нас стремится создать такую иерархию ценностей — действительных, или чисто иллюзорных, — в системе которой он утверждал бы свое действительное или мнимое превосходство. Говорить «правду» в лицо таким людям разоблачением их самообмана — безнадежное дело, могущее повести только к неприятностям или даже скандалам.

При этом один из парадоксов подсознания заключается в том, что люди, мучительно страдающие от своей неполноценности, отнюдь не обязательно явля-

ются объективно малоценными, в то время как люди, укрепившиеся в своем тупом самомнении, по большей части, объективно неполноценны.

Связь между «комплексом неполноценности» и манией величия общепризнана в современной психологии. Яркой иллюстрацией этой связи могут служить «Записки сумасшедшего» Гоголя, «Двойник» Достоевского, или «Тонио Кррегер» Томаса Манна.

Стремление к самоутверждению больше чем только «дано» нам. Оно столько же дано, сколько «самодано», то есть является специфически «моим» стремлением. Оно лишь наполовину бессознательно, наполовину же — вполне сознательно. Но парадокс стремления к самоутверждению заключается в том, что гипертрофия вкладывания моего «я» в это стремление приводит к *одержимости* им. Человек может быть одержимым не только безличными стихиями подсознания, но и самим собой. Например, даже неплохой человек легко может стать одержимым завистью. При этом самая острая форма зависти направлена не только на то, что другой человек «имеет» (скажем, богатство), но на то, что он *есть*. Труднее всего прощается духовное превосходство.

Но мерило нашей значительности — не в нас самих, а в тех объективных ценностях, которые мы осуществляем. Вне причастия объективным ценностям, вне проверки себя ими, субъективное самоутверждение теряет свой смысл.

Стремление к самоутверждению — предельно близко нашему «я». Все же наше «я» не исчерпывается этим стремлением и, чтобы описать феномен нашего «я», нужно подняться этажом выше — в область чистого сознания.

*Сознание «я»*

Между миром подсознания и миром сверхсознания находится центр нашей личности — наша самость. Психоанализ, при всех его несомненных заслугах, перегнул палку в сторону подсознания и не отдал достаточной дани анализу самого «я» (это признал впоследствии и Фрейд).

Если в нашей личности находится многое, что не является «я», то все же именно «я» есть центр координации и исходный пункт иерархии личности. Низшее «дано» нам, высшее — «задано», но субъект этой данности и заданности есть наша самость. Ведь и одержимости предшествует тайное согласие нашего «я» на одержимость. Словом, центральность «я» — истина самоочевидная, или долженствующая быть таковой.

«Я», самость, есть средоточие всего нашего существа, и вне отношения к «я» нельзя говорить ни о «под», ни о «сверх»-сознании.

И здесь нужно подчеркнуть главную, может быть, черту нашего «я», — его неуловимость для рефлексии, его необъективируемость. Всякая попытка «поймать» наше «я», всякая попытка сделать его «объектом» заранее обречена на неудачу. Как только мы делаем попытку сделать наше «я» объектом, наше сознание раздваивается на субъект и объект, а «я» нужно искать в субъекте, а не в объекте. Как говорится в индусских Упанишадах, «глаз не видит Тебя, ибо Ты — зрачок моих глаз».

Есть только одно понятие, которое подходит ближе других к сущности нашего «я». Это — *свобода*. Свобода не есть какая-либо готовая «данность», она есть живая потенция, которая проявляет себя в творчестве. Мы можем видеть, слышать, понимать уже продукты творчества, а не его потаенный источник — свободу.

Другое понятие, близко подходящее к сущности «я», это — возможность. Наша самость является источником творческих индивидуальных возможностей, которые мы так или иначе «осуществляем». Если же мы не осуществляем возможности, то мы их губим. Но и самые возможности рождаются непосредственно из нашей самости — из недр нашей свободы.

Наша самость может дать нашим собственным влечениям и стремлениям ту или иную направленность, — сублимировать их до степени духовности, или профанировать их до степени одержимостей. Все это зависит от нашей свободы. Сам Господь Бог не может заставить нас актом принуждения уверовать в Него, если этому упрямо противится наша самость. Да это заставление противоречило бы воле Божией, ибо Богу было угодно сотворить нас свободными. Религиозная вера рождается из свободного усмотрения бытия Бога, как Существа, бесконечно превышающего нас по Своим совершенствам, как Существа, одновременно бесконечно далекого от нас и бесконечно близкого нам.

Во избежание недоразумений: говоря о свободе, я имею в виду то, что мой учитель, проф. Н. Лосский, называл «формальной свободой», — о свободе как способности, никогда не могущей быть отнятой от нас. От этой «формальной свободы» Лосский отличал «положительно-материальную свободу» — свободу не только как способность, но как *состояние*, которое может быть обретено — или утеряно.

Но, хотя наше самосознание занимает центральное место в иерархии личности, наше «я», оторванное от целостной личности, было бы абстракцией. Конечный смысл центральности нашей самости может быть уяснен лишь в ее отношении к низшим влечениям и высшим устремленностям нашей личности.

Перед тем как перейти к высшему этажу личности — к миру сверхсознания, — мне придется остано-

виться на общественной сфере личности. При этом я хотел бы подчеркнуть тот важный пункт, что сознание «я» не субординировано общественной сфере личности, а именно координировано с последней.

### Сознание «мы»

Общество начинается с общения. С сознанием «я» тесно сопряжено сознание «мы». Человек живет не только своей личной жизнью, но и жизнью тех сообществ, в которые он входит. Если, во внешнем смысле, человек есть часть общества, то не меньшая правда заключается в парадоксальном афоризме Бердяева, что «общество есть часть личности». Бердяев имел здесь в виду наше внутреннее отношение к обществу, наличие сферы общения в личности, — то, что С. Франк назвал «сознанием «мы»». Как далее отмечает тот же Франк, «мы», вопреки грамматике, не есть множественное число от «я», а есть единство «я» и «ты». Каждое органически-цельное сообщество объединено этим сознанием общего дела, общего «мы».

В случаях, если сообщества носят внешний по отношению к нам характер и объединены лишь частичной общностью интересов, мы ограничиваемся внешним к ним отношением. Но есть сообщества, к которым мы не можем относиться внешне, ибо мы связаны с ними слишком интимно, — не одной общностью интересов, но общностью *бытия*. К числу подобных органических сообществ, члены которых связаны между собой *узами бескорыстной солидарности*, относятся, в первую очередь, семья, нация и Церковь. Такие бескорыстные сообщества можно назвать «коллективными личностями». (Более подробное обоснование этой мысли можно найти в моей книге «Основы органического мировоззрения».)

Во всех нас живет стремление к причастию некоему

над-личному «мы». Стремление к общению и стремление к социальной принадлежности столь же неискоренимы из природы личности, как и полярное им стремление к личному самоутверждению. Одиночество и общение — два взаимодополняющих полюса личности.

Как и в личной жизни, в общественной жизни есть свои соблазны и своя патология. Так, патриотизм есть нормальное и здоровое явление, но он нередко вырождается в узколюбый и этически предосудительный шовинизм. Так, в нормальном демократическом обществе неизбежно деление на партии, но исключительный культ своей партии создает яд партийности. Эти примеры можно было бы умножить.

Осуждать на этом основании всякий национализм или сам принцип политической многопартийности было бы, однако, большим заблуждением. Человек, лишенный всякого национального чувства, чрезвычайно обедняет свою жизнь и, разрывая узы национальной солидарности, обычно впадает в тем больший личный эгоизм. Помимо того, денационализуясь, он неизбежно попадает в орбиту другой национальности, и его дети поневоле усвоят иную национальную принадлежность, так что принцип национальности все равно заявит свои права.

А запрещать политические партии на основании тех зол, которые приносит партийность, — значит становиться на путь тоталитаризма, с его подавлением личной и общественной свободы.

Личность насущно нуждается в общении, без которого ее бытие будет неполным и даже ущербным.

Но избыток общения рассредотачивает личность, лишает ее глубины самобытия. К тому же, при слишком большой отдаче себя общественной стихии, само общение становится поверхностным. В наше время, в частности, сфера общения чрезвычайно расширилась, но глубина общения — уменьшилась.

Полноценная личность нуждается в одиночестве в не меньшей степени, чем в общении. И в нахождении правильного равновесия между одиночеством и общением заключается одна из жизненных задач, стоящих перед нами.

Между такими само-ценными сообществами, как семья, нация и Церковь, — и такими чисто внешними объединениями, как, скажем, акционерные общества или коммерческие предприятия, — находится целая гамма сообществ, не достигших степени коллективной личности, но представляющих собой нечто большее, чем только внешнее объединение. Примерами таких органических сообществ средней степени могут служить политические партии в демократическом государстве. В отличие от них, такие коллективные организмы, как тоталитарные политические партии, почти достигают степени «коллективных личностей», носящих, однако, зловредный характер. Так, советская компартия может служить устрашающим примером паразитарной коллективной личности, живущей за счет подавляемого ею народа.

Отвлекаясь от всякой политики, мы можем также констатировать, что мы все — многолики, — мы ведем себя в контексте одного сообщества иначе, чем в контексте другого, и еще иначе, чем в частной жизни. Во всяком случае, коллективная жизнь представляет собой социальную реальность особого порядка, отличную от реальностей чисто личной психологии.

Многие исторические события просто не могут быть объяснены как сумма личных психологий. Так, революции обыкновенно происходили через посредство массовых психозов, реальность которых не нуждается в наши дни в доказательствах. С нашей точки зрения, массовые психозы представляют собой заблуждения коллективного организма, впрочем, такие, при которых выходит наружу и активно проявляет себя огромная потенциальная энергия, скрытая в мас-

совом подсознании. Но возможен и массовый энтузиазм, и массовая апатия. Разрушительные проявления массовой психологии, во всяком случае, враждебны индивидуальной человеческой личности, которую они грозят растворить в себе. В этой связи полезно было бы дать краткую оценку главным направлениям общественной философии.

Как известно, в социальной философии имеются два крайние учения — индивидуализм и коллективизм. Оба эти учения и следующая из них социальная практика неблагоприятны для развития личности, хотя и по-разному.

Правда индивидуализма заключается в утверждении свободы личности, ее достоинства. Его неправда заключается в стимулировании низших начал в личности, прежде всего — личного эгоизма, — в понимании личности, как эгоистического атома. Это приводит к борьбе всех против всех, в результате чего лишь немногие, и притом не лучшие, могут активно осуществлять свою свободу и пользоваться благами жизни.

Злоупотребления индивидуализма, прежде всего вопиющее социальное неравенство, составлявшее язву XIX века, породили его антитезу — коллективизм. В противоположность индивидуализму, коллективизм ставит на первое место коллектив, массу. Личность же понимается лишь как член коллектива. В коллективизме ценно (в теории) выдвигание на первое место идей равенства и социальной справедливости. Этими идеями он и прельстил массы.

Но коллективизм на практике оказался величайшим врагом личной свободы, которая в его системе беспощадно подавляется, — и не принес блага и массам. Мало того, коллективизм (расовый — в фашизме, пролетарски-интернациональный — в коммунизме) оказался неспособным осуществить те самые идеи равенства и социальной справедливости, ради которых

он был вызван к жизни. «Под знаком равенства и братства там зрели темные дела» (Блок). Под знаком борьбы с «уровниловкой» в СССР воцарилось новое социальное неравенство, с его «новым классом» и закрытыми распределителями. Одним словом, анти-тезис индивидуализма оказался гораздо хуже своего тезиса.

Практика современных передовых стран Запада вырабатывает новый строй, основывающийся на индивидуализме (под именем демократии), но в значительной мере свободный от его былых недостатков, — благодаря принятию умеренной струи коллективизма. Здесь права и возможности беднейших классов гарантированы, да и сами эти беднейшие классы не голодают, и составляют меньшинство, а не большинство, как прежде. Французский философ Жак Маритэн назвал этот новый строй «экономическим гуманизмом». И все эти экономические достижения осуществляются без насилия над личностью и индивидуальной свободой. До идеала еще далеко, но путь намечен. Сознают это прагматические американцы или нет, но они на деле осуществляют учение, которое может быть названо социальным персонализмом, или персоналистическим солидаризмом. Это учение наиболее благоприятно для развития личности. Персонализм понимает отношение между личностью и обществом как отношение взаимодополнения, а не антагонизма, сглаживаемого лишь в порядке компромисса.

Персонализм, как и индивидуализм, утверждает примат личности и личной свободы, но требует от личности отдачи обильной дани обществу (поскольку общество, с глубинной точки зрения, есть часть личности). Развитие этой темы выходит, конечно, за рамки моей статьи. Позволю себе лишь процитировать немного самого себя (из книги «Трагедия свободы»):

«Это все значит, что нам надо отречься от горделивого идеала личности как эгоистического атома. Личность должна быть понята не только сама по себе, но и в ее первичном отношении к общественному целому. В личности «я» должно органически сочетаться с «мы». Иначе это «мы» превратится в безликое коллективное «оно», в ядовитом растворе которого растворится и «я». Отношение между личностью и обществом должно быть отношением *координации*, а не односторонней субординации. Личность должна служить обществу, но и общество должно служить личности».

Переходя же к общим перспективам темы, необходимо сказать, что социальная сфера занимает промежуточное отношение между «низшим этажом» личности: ее подсознательными влечениями и эгоистическими интересами — и «высшим этажом» личности: сферой свободного служения сверхличным ценностям. Этим ставится вопрос о природе сверхсознания.

### *Сверхсознание*

Высший этаж личности образует сфера, которую условно-обобщающе можно назвать сверхсознанием. Это — та, сравнительно мало исследованная область, откуда нисходит творческое вдохновение, откуда говорит голос совести, и посредством которой мы общаемся с Богом в молитве. Воздействие сверхсознания на сознание может быть охарактеризовано как некая «данность свыше». В сверхсознании различимы три автономных сферы, которые можно обозначить, как путь Истины, путь Добра и путь Красоты. Эта вечная платоническая триада находит свое высшее завершение в религии. Поклонение Богу и общение с Ним в молитве занимает в сверхсознании верховное место.

Ради краткости, и чтобы не загромождать слишком эту, и без того разросшуюся, статью, я не буду останавливаться сколько-нибудь подробно на анализе

трех главных сфер сверхсознания — стремлений к Истине, Добру и Красоте. Каждая из этих сфер обладает своей спецификой. Но я буду говорить о сверхсознании лишь в общих чертах. Скажу лишь, что если наука и философия, а также пути эстетики, требуют специфических талантов и специфических усилий, то путь Добра открыт для всех людей доброй воли. В этом смысле Истина и Красота — духовно — аристократичны, в то время как Добро — демократично. И все люди способны к молитве.

Реальность сферы сверхсознания тесно связана с реальностью высших ценностей, на которые она направлена. Если многие люди слепы к этой сфере, то это значит, что они вытеснили ее из своего сознания, что приводит к обеднению, искажению и порче личности. Во всяком случае, слепота не доказывает отсутствия света.

Ведь вдохновение посещает нас лишь при особом расположении духа, и все творцы знают, что нужно пользоваться этими минутами. Как говорил Гёте, вдохновение есть как бы дорогой гость, которого нужно уметь принять, иначе он не будет больше посещать нас.

Все творцы также знают, какого усилия требует иногда прислушивание к «голосу свыше», и как нелегко перевести язык сверхсознания на язык отчетливых образов и слов. Вдохновение не может быть вызвано искусственным усилием, но это не исключает, а требует усилий по его освоению — так называемых «мук творчества». В этом смысле Пушкин говорил о «священном холоде вдохновенья», и различал между восторгом, как экстатическом состоянии, неблагоприятном творчеству, где контроль разума угасает, — и собственно вдохновением, которое он характеризовал как «способность к живейшему восприятию идей и образов».

Восприятие — значит есть сфера, «из» которой творческие образы и зовы воспринимаются. В этом духе Алексей Толстой писал:

Тщетно, художник, ты мнишь, что творений своих ты  
создатель!  
 Вечно носились они над землею, незримые оку...

Или Бетховен, когда находил он свой марш похоронный,  
 Брал из себя этот ряд раздирающих сердце аккордов,  
 Плач неутешной души над погибшей великою мыслью,  
 Рушенье светлых миров в безнадежную бездну хаоса?  
 Нет, эти звуки рыдали всегда в беспредельном пространстве,  
 Он же, глухой для земли, неземные подслушал рыданья.

Эти прекрасные слова Алексея Толстого нельзя понимать, опять-таки, буквально. Конечно, все творцы создают именно *свои* произведения, посредством творческой фантазии. Но в бытии существуют живые возможности этих произведений, их творческие потенции. И настоящие художники не выдумывают свои произведения, а следуют (при контроле разума) голосу свыше, что и хотел сказать поэт.

Аналогично, и голос совести может быть услышан нами лишь при наличии внимания к этому голосу. В силу своей свободы, личность может на неопределенное время заглушать в себе голос совести, но рано или поздно (иногда в предсмертный час) он проснется, и тогда угрызения совести могут стать настоящим адом. Недаром Пушкин сказал: «Да, жалок тот, в ком совесть нечиста». Как показывает нравственный опыт, совесть говорит не от имени «я», а обращаясь к «я». Но совесть должна быть усвоена нашим «я», чтобы стать действенной.

Вообще, сверхсознание является *посредником* между высшими мирами и нашей самостью, а не самодовлеющей психической ипостасью. «Да и корни наших мыслей и чувств не здесь, а в мирах иных», —

говорит старец Зосима у Достоевского. Однако задача заключается в том, чтобы эти высшие побуждения были усвоены нашей грешной самостью, стали достоянием всей нашей личности. Психолог Карл Юнг, первый в научной психологии описавший сверхсознание, утверждает, что многие неврозы высшего порядка имеют своей конечной причиной *вытеснение голоса совести* и религиозных запросов нашим эгоцентрически-гордым сознанием.

Сверхсознание и есть обнаружение духовного начала в человеке, и составляет главный ключ к загадке личности.

Невнимание к собственному сверхсознанию, конкретнее говоря, — подавление в себе нравственной совести, эстетики души и, главное, религиозных стремлений — приводит к атрофии совести, к замене ее псевдосовестью, и к утрате благоговения. Человек без страха Божия был бы, поистине, страшным человеком. Этот антидуховный путь приводит к бестиализации и даже сатанизации человека.

Ведущий представитель современного реформированного психоанализа Виктор Франкль выразил эту истину в чеканной формуле: «Если мы подавляем ангела в себе, он может превратиться в демона». Современный антидуховный кризис имеет своим психологическим корнем именно подавление в человеке его сверхсознательной сферы, через которую человек соединен незримыми нитями с горним миром духа.

Мы уже сказали, что высшим проявлением сверхсознания является религиозная сфера. Религия есть необходимый атрибут человеческого духа, по существу не искоренимый из человеческой личности. (Это я говорю, имея в виду человеческую перспективу, ибо, в глубине, скорее человеческий дух есть один из атрибутов Божества, чем наоборот.) Поэтому настоящий атеизм психологически невозможен. Немецкий философ Макс Шелер выразил эту истину в афоризме: «Че-

ловек с необходимостью верит или в Бога, или в идола». О том, к каким страшным последствиям приводит догматический атеизм, свидетельствуют произведения Достоевского и страшные реальности советских тюрем и концлагерей. Описание религиозного опыта не входит в замысел этой статьи, посвященной анализу структуры личности. Но из тысяч описаний такого опыта мистиками приведем краткий отрывок из видений немецкого средневекового святого, Сузо. Вот как он описывает видение Вечной Мудрости Божией: «Я увидел и услышал нечто не выразимое языком: это было нечто без формы и вида, но заключавшее в себе радостное наслаждение от всех форм и видов... это была источающаяся из вечной жизни сладость в наличном пребывающем спокойном ощущении».

Тема об источниках зла в человеческой природе — не центральная в этой статье... Все же скажу об этом несколько слов. В разрезе нашей темы, эти источники зла можно определить как *абсолютизацию низших ценностей*. Так, исключительное сосредоточение на инстинкте самосохранения дает тип шкурника. В соединении со слепой жадой самоутверждения — это может дать преступника. Преимущественное сосредоточение на сексуальности дает тип сладострастника или развратника. Сосредоточение на «принципе удовольствия» в его не-сексуальном проявлении может дать тип пьяницы или наркомана.

Наконец, исключительное сосредоточение на самоутверждении дает или манию величия, или может привести к садизму — испытыванию извращенного удовольствия от нанесения мучений другим людям. Садизму родственен мазохизм — не менее извращенное наслаждение самомучительством, кульминирующее в самоуничтожении. Как садизм, так и мазохизм направлены на разрушение.

Даже сверхсознание может дегенерироваться в фанатизм: если сверхсознание отрывается от предмета своей направленности — мира высших ценностей — и становится, так сказать, самоцелью. Не забудем, что сверхсознание есть только посредник между человеческим сознанием и высшим миром духа. Когда этот посредник присваивает себе божественные атрибуты — получается извращение сверхсознания, обычно проявляющее себя как фанатизм. При этом фанатик, сам того не сознавая, становится нередко орудием садизма или мазохизма — этих злых компонентов стремления к самоутверждению. Об этом извращении сверхсознания хорошо сказано у Достоевского: «Совесьть без Бога есть ужас. Она может привести человека к величайшим преступлениям».

Глубинный источник зла — всегда в бессознательном (а иногда и сознательном) бунте против Бога, в гордыне, в слепом самообожествлении. Тогда психический ток, нормально направленный снизу вверх, по пути сублимации, низвергается сверху вниз, внося порчу и разрушение в самый состав личности.

Мне остается еще сказать несколько слов о сублимации, как о пути снизу вверх, в противоположность профанации, которая есть путь сверху вниз.

Высшей добродетелью, доступной человеку, является святость — полное предание себя воле Божией. Однако такой путь доступен лишь очень немногим избранным. И, поскольку все мы, грешные люди, идем снизу вверх, — в преддверии царства Духа нас встречает нравственный закон, лишь исполнив который мы можем идти дальше — ко встрече с Богом. И Сам Христос сказал: «Не нарушить (закон) пришел Я, но исполнить».

Нравственный закон выражается первично в форме запретов — «не убий», «не укради» и так далее. Эти запреты, обращенные к страстной природе ветхого Адама, совершенно необходимы. Без них чело-

веку грозила бы опасность вернуться в животное состояние.

Однако в отрицательно-законническом характере этих запретов содержится указание на их недостаточность. Существует психологический закон, согласно которому всякий запрет, хотя внешне и ограничивает нас, но внутренне вызывает иррациональное сопротивление воли. Запретный плод сладок, и потому нам так хочется нарушить запрет. Все психологи согласны, что отрицательные внушения недействительны. Ибо подсознание не знает знаков плюса или минуса, оно фиксируется лишь на упомянутом предмете. Поэтому, глядя в пропасть, нам так хочется ринуться в нее: наш разум говорит: осторожно, а то упадешь, но наше подсознание концентрируется лишь на этом «упадешь».

Поэтому психологически необходимо, чтобы нравственные императивы не только ограничивали бы нашу волю, но и положительно вдохновляли бы нас. Без таких вдохновительных императивов самое Добро становится скучным. Нравственная красота, в отличие от более явной эстетической красоты, доступна лишь немногим. Именно поэтому сосредоточение внимания на сияющем образе Христа и на образах святых и праведников более вдохновляет людей, чем нравственные императивы сами по себе, что, конечно, не исключает необходимости этих нравственных императивов. По этой же причине для верующих такую благодетельную роль играет церковная эстетика.

Низшие влечения могут быть — не сдержаны лишь, а внутренне побеждены и просветлены только посредством превращения этих низких страстей в духовную энергию. Сублимация в этом смысле означает возвышение и утончение души. Б. Вышеславцев написал прекрасную книгу «Этика преображенного Эроса», в которой он показывает, как вдохновение Добра, в союзе с Красотой, преображает изначально темную

стихию Эроса в светоносную духовную энергию. При этом Вышеславцев подчеркивает, что одной сублимации Эроса мало. Необходимо еще победить главного противника — противоборство нашей самости, нашей низшей свободы, — с тем, чтобы свобода свободно отказалась от порочного круга самоутверждений и отдала себя на служение тому, что выше личности и общества — Богу и Его Царству.

Сверхсознание, особенно его этическая и религиозная сферы, и есть «образ Божий в человеке».

В заключение добавлю, что путь самопознания личности есть уже преддверие религиозного пути. Как говорил величайший христианский мыслитель, блаженный Августин, — «viderim me — viderim Те», то есть, «если бы я увидел себя, я увидел бы и Тебя».

Мне хочется закончить эту статью четверостишием из Гёте:

Wär's nicht das Auge sonnenhaft  
 Die Sonne könnt' es wie erblicken?  
 Läg's nicht in uns des Gottes eigne Kraft  
 Wie könnt' uns Göttliches entzücken?

(Если бы наш глаз не был солнцеподобен,  
 Как мог бы он видеть солнце?  
 Если бы в нас не таилась Божья сила,  
 Как могло бы Божественное вдохновлять нас?)

## Библиография

### ПОРТРЕТ БЕЗ РЕТУШИ

Четвертого апреля 1866 года средь бела дня в столице Российской империи впервые было совершено покушение на жизнь Александра II. В тот день, в четвертом часу, завершив обычную прогулку по Летнему саду, царь вышел на набережную Невы и направился к коляске. И в этот момент из толпы зевак раздался выстрел. Стрелявший (который оказался при расследовании двадцатилетним Дмитрием Каракозовым) промазал: кто-то его толкнул под руку; решили, что это сделал некий картузник по фамилии Комиссаров... Через полгода Каракозова повесили на Семеновском поле в Петербурге...

Анатолий Федорович Кони (который спустя двенадцать лет был председателем суда, оправдавшего террористку Веру Засулич) писал в своих «Воспоминаниях» по этому делу: «...4 апреля 1866 года последовал роковой выстрел Каракозова. Спасение жизни царя было встречено с таким восторгом и подъемом любви к нему, которых, конечно, ни один из очевидцев никогда не забудет...» Подобных свидетельств современников множество. Известно, как был потрясен выстрелом в царя и его «чудесным» спасением Достоевский, который принес эту весть Майкову... Достоевский давно уже не числился в радикалах, но его это событие затронуло не только как человека, но и как писателя. В результате действий главы следственной комиссии М. Н. Муравьева (вошедшего в историю после жестокого подавления польского восстания 1863 года, под кличкой «Вешатель») цензура задержала очередные главы «Преступления и наказания» (они появились через месяц после покушения, не в 3-й, как было запланировано, а в 4-й книжке катковского «Русского вестника»)... А что уж говорить про радикалов?!

---

К. Чуковский. Поэт и палач. (Некрасов и Муравьев). Петербург. Изд-во «Эхо». Переизд. «Ардис».

Елисеева, Лаврова, Благосветлова, Курочкина арестовали; «Современник» и «Русское слово» закрыли...

Все эти лица и представляемые ими органы печати подверглись наказанию (глядя с нашей колокольни, смехотворному) потому, что «и правительство, и так называемые темные массы», говорит автор рецензируемой книжки, видели в них «моральных соучастников цареубийцы, хотя на самом деле никто из них не понимал и не хотел этого выстрела, ибо в то базаровское время, в шестидесятые годы, идеология терроризма еще не проникла в умы». И вот те, «которых теперь назвали бы интеллигентами, поняли, что им не будет пощады». Всякому из них «мерещились дыбы, бичи, топоры. Это был массовый психоз, эпидемия испуга, охватившая всех без изъятия. Что же странного, что ей поддался и Некрасов?»...

Все задавали себе вопрос, что будет с ним, ведь он был «признанный вождь радикалов», редактор «Современника», даже подписчики коего «считались неблагонадежными»... И вот этот испуг (не столько за себя, сколько за свое любимое детище — журнал) «через несколько дней погнал Некрасова на обеденное чествование Вешателя» в Английском клубе, где поэт и прочел Муравьеву оду в его честь... Это было 16-го, а 9-го в том же клубе он прочитал «стишки в честь царя и Комиссарова», которого, как и многие другие, наименовал «орудием Бога» (впрочем, к этим «стишкам», говорит Чуковский, даже Герцен отнесся снисходительно)...

Пережив страшную неделю между 9-м и 16-м апреля («период поголовного хватанья»), Некрасов не выдержал. «Но хуже всего было то, что этот поступок Некрасова не принес ему ожидаемых благ, и презрение, которое он вызвал в реакционных кругах, было равно негодованию радикальных»...

Если бы автор ограничился констатацией этого факта, он, по сути, осудил бы Некрасова. Но в том-то и дело, что он его не осуждает, говоря, что поэт «виновен лишь в том, что он пошел по общему течению». (Вышеупомянутый сотрудник «Современника» Елисеев, к примеру, «продрожал 25 суток подряд... и тоже пытался спастись путем патриотических восторгов». Неизвестно, как бы он поступил, ежели был бы поэтом и имел возможность встретиться с «диктатором»...)

И тем не менее он себя винил, казнил и каялся до конца своих дней («Прости меня, о родина, прости!»). И эта казнь, пишет Чуковский, «искупила бы и не такую вину», которая в сущности состояла в том, что Некрасов был не герой и ни разу не «пострадал» за свои убеждения...

Показывая подлинный облик поэта, человека необычайно сложного («Двойной, но не двуличный. Двуликий, но не двуличный»), Чуковский полемизирует с теми, кто «подмалевывает, затушевывает, приглаживает, прихорашивает, ретуширует подлинный облик Некрасова, так, что в результате Некрасов похож уже не на себя, а на любого из них, туповатого и стоеросового радикала...» И вот — исчезает «хрестоматийный глянец», и «перед нами возникает близкое, понятное, дисгармонически-прекрасное лицо — человека».

«Поэт и палач» вошел составной частью (правда, в несколько иной редакции) в замечательные, ставшие библиографической редкостью, «Рассказы о Некрасове», изданные «Федерацией» в 1930 году. Возражая в предисловии к «Рассказам» тем, кто стал бы его упрекать в неприязни к поэту за обнародование некрасовских «грехов», Чуковский говорит, что лучшим ответом служит его многолетняя работа над творческим наследием поэта (это он подготовил первое Полное собрание стихотворений Некрасова, не искаженное цензурой; отыскал и прокомментировал несколько тысяч неизвестных его стихов; первым приступил к изучению его поэтической техники)...

Рецензируемая нами книжка «Поэт и палач» отмечена лучшими чертами Чуковского-писателя, еще свободного от цензурных пут, еще вольного говорить до конца, со всем присущим ему стилистическим блеском, остроумием, благородным изяществом, богатством интонаций. Уже само по себе чтение этой маленькой книжки доставляет подлинное эстетическое наслаждение. Но ее интерес, конечно, не столько в этом, сколько в увлекательно (как это свойственно Чуковскому) и психологически точно рисуемой историко-литературной картине эпохи, со всеми ее персонажами и аксессуарами.

У нас, читателей семидесятых годов, при чтении ее невольно возникают определенные ассоциации. Читая о судьбе редактора и сотрудников «Современника» (а также и

самого журнала, вскоре сменившегося «Отечественными записками») в годину правительственного «террора», нельзя не подумать о том, что случилось через сто лет, в шестидесятые годы нынешнего века, с другим лучшим журналом России — «Новым миром», с его редактором Твардовским (Некрасовым нашего времени) и некоторыми сотрудниками... Да, времена меняются, и необычайно поучительно сравнить обе эти судьбы, чтобы и на этом примере уразуметь, что случилось с обществом и литературой... Нетрудно представить себе, что произошло бы с Некрасовым и его журналом, скажем, в сталинские времена, ежели сделать такое фантастическое допущение, что подобный журнал вообще существовал бы в новой «каракозовской» ситуации. А что произошло с «советским Некрасовым» и его журналом после Сталина и Берия, в достаточно мирные, «либеральные» времена, мы знаем: редактор, устав напрасно бороться, преждевременно умер, а журнал его, хоть и не закрыли, фактически умер вместе с ним...

Об этой и о многих других «параллелях» размышляешь, рассматривая мастерски нарисованный покойным писателем портрет эпохи и человека — портрет без ретуши.

*В. Володин*

## ПО СУТИ ДЕЛА

Передо мною сборник радиобесед Виктора Франка, лучшего комментатора радиостанции «Свобода» в ее лучшие годы (1967—1972), когда стремление к разрядке международной напряженности уже стимулировало внимательное отношение к советской жизни, не требуя еще примиренчества к советской власти.

В центре этого периода — конечно, Чехословакия 1968 года. Но о ней только три беседы: от 12 апреля, от 24 августа и от 31 августа. И не эти беседы характерны для Виктора Франка. При отнюдь недвусмысленной политической ориен-

---

Виктор Франк. По сути дела. Лондон, 1977.

тации, его творчество было устремлено к тому, что извечно стоит за политикой, к тому, что хочется назвать «метаполитическим». Вот цитата из его беседы об Анне Ахматовой:

«...когда пройдут десятилетия, когда и Сталин и Хрущев, и Брежнев превратятся в предметы отдельных глав скучных школьных учебников, люди будут говорить о первой половине нашего века как о серебряном веке русской поэзии. Будут говорить о Сталине как о человеке, погубившем Мандельштама; о Жданове — как о полуграмотном «генерал-аншефе», травившем Ахматову; о Хрущеве — как о безграмотном мужлане, замучившем Пастернака; о Брежневе — как о серой бездарности, пытавшейся заставить замолчать Солженицына. В этом смысле... история расставит в правильном порядке фигуры и фигурки нашего века».

Журналист по профессии, но сын философа по происхождению и историк по образованию, Франк имеет здесь в виду, что «ни одной строчки из речей этих деятелей не останется в памяти народа, а стихи Ахматовой будут повторять и влюбленные девушки, и страждущие матери, и одинокие старики, и все, кому дорог Пушкин, старый Петербург и вечная Россия». И под гром и ныне не умолкающих споров о политическом и неполитическом служении перечитывая радиобеседы Виктора Франка, мне вспоминается другая его формулировка, брошенная в разговоре не то в Мюнхене, не то во Франкфурте, не то еще до войны в Берлине: по сути дела служить надо не той культуре, которая способна служить политике, а той политике, которая способна служить культуре.

Р. Р.

# СОДЕРЖАНИЕ

с № 101 по № 106

## ПРОЗА

**ВАСИЛИЙ**

Наташа и Пивоваров. Мистерия, 102

**ГЛАДИЛИН Анатолий**

«Запорожец» на мокром шоссе. Опыт технического исследования. Рассказ, 103

**ЗИНОВЬЕВ И.**

Выборы. Рассказ, 102

**КАНДЕЛЬ ФЕЛИКС**

Коридор. Роман. Часть 1, 102. Часть 2, 105

**РЕДЛИХ Роман**

Предатель. Роман. Часть 2, 104

**СУСЛОВ Александр**

Плакун-Город. Повесть, 103

**ТЕРНОВСКИЙ Е.**

Странная история. Повесть, 101

**ШЕНБРУНН Светлана**

Как на речке на Оке. Повесть-очерк, 106

## ПОЭЗИЯ

**БОРОДИН Леонид**

Стихи, написанные в тюрьме, где их пишут многие. Семь стихотворений: А за спиною хлупает вода... и др., 105

**БУРИХИН Игорь**

Три стихотворения: Движенье неба наблюдать... и др., 103

**ВЛАДИМИРОВА Лия**

Одиннадцать стихотворений: Скажи, взаимоотношения... и др., 106

**ЕЛАГИН Иван**

Худошавым подростком... Стихотворение, 104

**ИГНАТОВА Елена**

Восемь стихотворений: И русского стиха прохладный влажный сруб... и др., 103

**ИОФЕ Юрий**

Тяжелый Париж. Из книги «Вне России», 104

## ГРАНИ

### КАРАБЧИЕВСКИЙ Ю.

Десять стихотворений: Прямая речь! Покровы сняты... и др., 101

### КИПЛИНГ Редиард

Избранные стихотворения в пер. Василия Бетаки. Шесть стихотворений: Послание и др., 102

### КРИВУЛИН Виктор

Три стихотворения: Вишни и др., 103

### ОХАПКИН Олег

Четыре стихотворения: Второй орфический гимн февралю и др., 103

### РУБИН Илья

Революция. Поэма. Стихотворения: Приснилось мне, что я обманут...; Писать стихи, как плакать, помолясь..., 105

### СОЛОГУБ Ф.

Десять стихотворений: Забыла ты полет орлиный... и др., 101

### ФРЕНКЕЛЬ Вера

Семь стихотворений: Мост утончился в медленном дожде... и др., 103

## ОЧЕРКИ СОВРЕМЕННОСТИ

### КАПИТАНЧУК В.

В Оптике, 102

### СИНЯВИН Игорь

Последний день в России, 106

### ЧЕРНЫЙ Осип

Константин Богатырев, 102

## ДОКУМЕНТЫ

### ВЛАДИМОВ Георгий

В Правление Союза писателей СССР. Письмо, 106

## ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

### БЕТАКИ Василий

Гамлет с мечом Фортинбраса. О советских переводах Р. Киплинга, 102

Петербургская поэзия. (Вводная статья к подборке петербургских поэтов. Коротко о самих поэтах перед

- публикацией стихотворений каждого из них), 103  
 Три спора. О поэзии Ивана Елагина, 103
- БРЕЙТБАРТ Е.**  
 Хранительница традиций. Лидия Корнеевна Чуковская, 104
- КАРАБЧИЕВСКИЙ Ю.**  
 Точка боли. О романе Андрея Битова «Пушкинский дом», 106
- КРАСНОВ Владислав**  
 Многоголосость героев в романе Солженицына «В круге первом», 103
- Н. В.**  
 Вячеслав Иванов — о русском языке, 102  
 Публикация двух отрывков из статьи Вяч. Иванова о русском языке  
 Стихи из архива Ф. Сологуба (Приводятся 10 стихотворений Ф. Сологуба, см. раздел «Поэзия»), 101
- РАЙС Эммануил**  
 О поэзии Николая Заболоцкого, 102
- ФИЛИППОВ Борис**  
 Заметки о поэзии Бориса Нарциссова, 105
- ЧЕРНЯВСКИЙ Владимир**  
 Гибель героев. О творчестве Георгия Владимова, 106
- ШЁНФЕЛЬД И.**  
 О документальной прозе в СССР, 105
- ШТЕЙН Юрий**  
 Фрагменты минувшего двадцатилетия, 101
- ШТОК Д.**  
 Выбор пути. О творчестве В. Войновича, 104

## ФИЛОСОФИЯ · БОГОСЛОВИЕ

- ГЕННАДИЙ (ЭЙКАЛОВИЧ) игумен**  
 Философия неравенства, 102
- ЛЕВИЦКИЙ Сергей**  
 Загадка человеческой личности. Об иерархической структуре личности, 106
- РУБИН Илья**  
 Кто был никем..., 105
- ШИФФЕРС Евгений**  
 Параграфы к философии «ученичества», 105

## ПУБЛИЦИСТИКА

- ГЕННАДИЙ (ЭЙКАЛОВИЧ) игумен  
С Богом или..., 104
- ЗЕМЦОВ Илья  
О советской социологии, 102  
История развития советской социологии, 103
- ИГНАТЬЕВ И.  
Признания Владислава Гомулки, 101, 102
- ЛАМЗДОРФ В.  
«Исторические закономерности» и наука, 105
- МЭМФОРД Льюис  
Авторитарная и демократическая техника, 103
- ПОППЕР Карл  
Утопия и насилие, 106
- ПОРЕМСКИЙ В.  
Будущее свободы, 103
- ЧЕРНЯВСКИЙ Владимир  
Предсказание Казота, 104
- ФЛЕХТХАЙМ Осип  
Третьим путем — к мировой демократии, 104
- ФУРАСТЬЕ Жан  
Бытие и свобода, 104
- ШТАЙНБУХ К.  
Европейские демократии на пороге решений, 103
- ШУМАХЕР Э.  
Техника и политические реформы, 103

## РЕДАКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

- Свобода человека и общество грядущего. От редакции, 103  
От редакции, 103, с. 287

## БИБЛИОГРАФИЯ

- Авторханов А.  
Загадка смерти Сталина (Заговор Берия). — Франкфурт-на-Майне 1976. 102, с. 227
- Войнович Владимир  
Иванькиада, или рассказ о вселении писателя Войновича в новую квартиру. — Анн Арбор/США 1976. 102, ст. 228

- Даниэль Ян см. Каван Ян  
 Древнерусское искусство. Зарубежные связи. — Москва 1975. (Т. Паншина), 103, с. 280
- Каван Ян Даниэль Ян  
 Социалистическая оппозиция в Чехословакии 1973-1975. Подборка документов. — Лондон 1976, 104, с. 282
- Киселев Александр, прот.  
 Облик генерала А. А. Власова (Записки военного священника). — Нью-Йорк 1977. (Е. Брейтбарт), 105, с. 263
- Крэнстон Морис  
 Права человека. Документы о правах человека. — Париж 1975. 104, с. 283
- Окуджава Булат  
 Похождение Шипова или старинный водевиль (Истинное происшествие). — Москва 1975. (Е. Брейтбарт), 101, с. 244
- Силоне Иньяцио  
 Судьба одного бедного христианина. Пер. с итал. Ирины Альберти. — Неаполь 1968. (В. Володин), 105, с. 267
- Франк Виктор  
 По сути дела. — Лондон 1977. (Р. Р.), 106, с. 279
- Чалидзе Валерий  
 Уголовная Россия. — Нью-Йорк 1977, 104, с. 284
- Чуковский К.  
 Поэт и палач (Некрасов и Муравьев). — Петербург. Переизд. «Ардис». — Анн Арбор/США. (В. Володин), 106, с. 276
- Чуковская Лидия  
 Записки об Анне Ахматовой. — Париж 1976. 102, с. 228
- Шафаревич И. Р.  
 Социализм как явление мировой истории. — Париж 1977. (В. В.), 105, с. 272
- Якобсон Роман Святополк-Мирский Д.  
 Смерть Владимира Маяковского. — Mouton. The Hague — Paris 1975. (В. Володин), 104, с. 272
- Karmitz M.  
 Soup pour soup. — Paris 1972. (Владимир Марамзин), 101, с. 249
- Marinatos Spyridon  
 Kreta, Thera und das Mykenische Hellas. — München 1973. (А. Русак), 105, с. 274

Oswalt Julia

Kirchliche Gemeinde u. Bauernbefreiung. Soziales Reformdenken in der orthodoxen Gemeindegeistlichkeit Rußlands in der Ära Alexander II. — Göttingen 1975. (прот. Кирилл Фотиев), 104, с. 280

Schulz Eberhard

Die archäologische Landschaft. — München 1974. (А. Русак), 105, с. 273

## УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН АВТОРОВ

- |                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Бетаки Василий, 102, 103              | Марамзин Владимир, 101        |
| Бородин Леонид, 105                   | Мэмфорд Льюис, 103            |
| Брейтбарт Е., 101, 104, 105           |                               |
| Бурихин Игорь, 103                    | Охапкин Олег, 103             |
| Василий, 102                          |                               |
| Владимирова Лия, 106                  | Паншина Т., 103               |
| Владимов Г., 106                      | Поппер Карл, 106              |
| Володин В., 104, 105, 106             | Поремский В., 103             |
| Геннадий (Эйкалович) игумен, 102, 104 | Райс Эммануил, 102            |
| Гладилин Анатолий, 103                | Редлих Роман, 104             |
|                                       | Рубин Илья, 105               |
|                                       | Русак А., 105                 |
| Елагин Иван, 104                      |                               |
|                                       | Синявин Игорь, 106            |
| Земцов Илья, 102, 103                 | Сологуб Ф., 101               |
| Зиновьев И., 102                      | Суслов Александр, 103         |
|                                       | Терновский Е., 101            |
| Иванов Вячеслав, 102                  |                               |
| Игнатова Елена, 103                   | Филиппов Борис, 105           |
| Игнатъев И., 101, 102                 | Флехтхайм Осип, 104           |
| Иофе Юрий, 104                        | Фотиев Кирилл, прот., 104     |
|                                       | Френкель Вера, 103            |
|                                       | Фурастье Жан, 104             |
| Кандель Феликс, 102, 105              |                               |
| Капитанчук В., 102                    | Черный Осип, 102              |
| Карабчиевский Ю., 101, 106            | Чернявский Владимир, 104, 106 |
| Киплинг Редиард, 102                  |                               |
| Краснов Владислав, 103                |                               |
| Кривулин Виктор, 103                  |                               |
|                                       | Шенбрунн Светлана, 106        |
| Ламздорф В., 105                      | Шёнфельд И., 105              |
| Левицкий Сергей, 106                  | Шифферс Евгений, 105          |

Штайнбух К., 103  
 Штейн Юрий, 101  
 Шток Д., 104

Шумахер Э., 103  
 Эйкалович см. Геннадий  
 игум.

## ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

Тематический указатель охватывает только те материалы, которые посвящены творчеству, мировоззрению или жизнеописанию людей.

Бердяев Н., 102  
 Битов Андрей, 106  
 Богатырев Константин, 102

Иванов Вячеслав, 102  
 Киплинг Р., 102

Владимов Георгий, 106  
 Войнович В., 104

Маяковский Владимир, 104

Гомулка Владислав, 101, 102

Нарциссов Борис, 105

Елагин Иван, 103

Солженицын, 103  
 Сологуб Ф., 101

Заболоцкий Николай, 102

---

*Примечание:* С этого года мы будем публиковать кумулированное содержание журнала «Грани» в новой, расширенной форме. Эта форма была разработана для специального выпуска «Граней» с содержанием номеров журнала с № 1 по № 100. Впредь мы будем помещать годовое содержание «Граней» в последнем номере текущего года.

---

Редактирует Редакционная Коллегия  
 Главный редактор Н. Б. Тарасова

---

Адрес редакции журнала «Грани»:  
**Grani c/o Possev-Verlag, Flurscheideweg 15,  
 6230 Frankfurt/M., Sossenheim**

---

Possev-Verlag, V. Gorachek KG, Frankfurt am Main

# ПОСЕВ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ  
ЖУРНАЛ

и

## ВОЛЬНОЕ СЛОВО

САМИЗДАТ · ИЗБРАННОЕ

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ

НЕПОСРЕДСТВЕННО В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ:

«Посев» (12) и «Вольное слово» (4) — 75 н. м. (34 дол.)

«Посев» (12) — 60 н. м. (27.50 дол.)

ЧЕРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА И МАГАЗИНЫ:

«Посев» (12) и «Вольное слово» (4) — 90 н. м. (41 дол.)

«Посев» (12) — 72 н. м. (32.50 дол.)

**Журналистическая подписка на «Посев» и «Вольное слово», с правом использования всего материала, не снабженного «copyright», без предварительного согласования: в Европе — 260 н. м., в остальном мире (с возд. доставкой) — 300 н. м. (135 дол.)**

**Доплата за воздушную доставку:**

«Посев» и «Вольное слово» зона I: 24 н. м. (11 дол.);

зона II: 36 н. м. (16.50 дол.)

«Посев» зона I: 20 н. м. (9 дол.);

зона II: 30 н. м. (13.50 дол.)

I зона — Северная Америка и Ближний Восток

II зона — Южная Америка и Дальний Восток

Цены в долларах — только для ориентировки, в случае изменения курса уплате подлежит указанная в марках сумма. Если нет других указаний, подписка по истечении года автоматически продолжается.

**СТОИМОСТЬ В РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖЕ:**

«Посев» — 6 н. м.

«Вольное слово» — 6 н. м.

POSSEV-VERLAG

D-6230 Frankfurt/Main 80, Flurscheideweg 15

или же банковским переводом на

Konto 2 412 755, Dresdner Bank, Frankfurt/Main

или на почтовый счет

Postscheckkonto 334 61-608, Frankfurt/Main.

Пересылать рукописи в издательство «Посев» можно как через своих граждан, едущих за границу в некоммунистические страны, так и через иностранцев, посещающих СССР.

Приехавший за границу может сдать пакет с рукописью на почту, а в случае необходимости — опустить в почтовый ящик и без марок. На пакете с рукописью необходимо указать следующий адрес:

**Possev - Verlag,**

**623 Frankfurt am Main, 80, Flurscheideweg 15.**

### ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Это обращение составлено нами до подписания Советским Союзом Всемирной конвенции об авторском праве. Однако ничего не изменилось: свобода творчества подавляется, как и раньше. Поэтому мы будем продолжать помогать российской интеллигенции, а в особенности молодежи, выполнять возложенную на нее историей ответственную задачу — в свободном творчестве правдиво изображать жизнь и стремления нашего народа, воспроизводить его духовный облик. За свободное творчество! За свободную Россию!

С дружеским приветом

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПОСЕВ»

# Г Р А Н И

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Стоимость подписки на 4 номера (включая пересылку):

При подписке непосредственно из издательства —  
48 н. м.

При подписке через представителей и книжные  
магазины — 60 н. м.

Цена в розничной продаже — 15 н. м.

Розничная цена № 100 — 20 н. м.

В США и КАНАДЕ:

При подписке непосредственно из издательства —  
22 ам. дол.

При подписке через представителей и книжные  
магазины — 27.50 ам. дол.

Цена в розничной продаже — 7 ам. дол.

Розничная цена № 100 — 9 ам. дол.

Подписную плату следует посылать:  
почтовым переводом или чеком (в письме) по адресу

POSSEV-VERLAG

D-6230 Frankfurt/Main 80, Flurscheideweg 15

или же банковским переводом на

Konto 2 412 755, Dresdner Bank, Frankfurt/Main

или на почтовый счет

Postcheckkonto 334 61-608, Frankfurt/Main.